

Канцлер

Автор:

Нина Соротокина

Канцлер

Нина Матвеевна Соротокина

Гардемарины #3 Исторические приключения (Вече)

1757 год. В Европе разгорается Семилетняя война, которую впоследствии Уинстон Черчилль окрестил «первой мировой войной» из-за участия в ней большинства европейских и американских государств. Капитан-поручик Александр Белов продолжает делать военную карьеру и получает назначение в кирасирский полк на должность ротмистра. Алексей Корсак, выздоравливающий после тяжелого ранения, которое получил в морском бою под Мемелем, горячо обсуждает сложившееся положение со старым другом, князем Никитой Оленевым. Однако никто из них, лихих гардемаринов, не представляет себе, что судьба в лице всемогущего канцлера империи Бестужева уже приготовила для друзей новое, смертельно опасное испытание. И чтобы преодолеть все преграды, им придется снова вспомнить любимый девиз: «Судьба и родина – едины!»

Нина Соротокина

Канцлер

© Соротокина Н. М., 2011

© ООО «Издательский дом «Вече», 2011

Часть первая

влекомые фортуной

Анна Фросс

Среди пассажиров шхуны «Влекомая фортуной», идущей из Гамбурга в Санкт-Петербург, обращала на себя внимание очень молоденькая девица в скромном, отделанном стеклярусом сером платье и большом плаще типа редингот, который в непогоду служил ей одеждой, а ночью – постелью. Весь багаж пассажирки уместился в простой шляпной коробке с нарисованной на крышке розой. Эту коробку она никогда не забывала в трюме, а носила с собой, прогуливаясь от кормы к носу. Девицу звали Анна Фросс, но на шхуне никто не знал ее имени. Пассажиры называли ее Леди, и она с удовольствием откликалась на этот титул, хотя и она сама и обращавшиеся к ней отлично понимали, что юная немецкая мешаночка уж никак не имеет на него прав. В этом обращении сквозили легкая, незлая насмешка, но более всего уважение к существу, которое природа одарила столь щедро: она была красива, добра, ласкова, услужлива. Личико ее было скорее хорошеньким, чем красивым, словно творец, пребывая в отличном настроении, создал кукольную, милейшую копию с истинной красавицы, но фигура, руки, походка!.. Леди, что и говорить. Да и кто знает, может, это скромное серое платье и грубый плащ всего лишь маскарад, а под ним скрывается представительница высокого рода, бежавшая от несправедного гнева родителей или несправедливых преследователей.

Пассажирам было приятно так думать. Глядя на девушку, они и сами поднимались в собственных глазах, обманывая себя, что их гонит в Россию некая тайна, а не только вера в удачу и собственная бесшабашность и глупость. Немецкий историк и филолог Шлесер, долгое время находившийся на русской службе, в минуту откровения и разочарования бросил фразу, которая мне кажется уместной: «Дураки полагают, что нигде нельзя легче составить себе

карьеру, чем в России, многим из них мерещится тот выгнанный из Вены студент богословия[1 - Имеется в виду, конечно, Андрей Иванович Остерман – граф, дипломат, генерал-адмирал, кабинет-министр.], который впоследствии сделался русским государственным канцлером». Наверное, в наше время эта формула изменилась, сейчас для иностранцев Россия действительно непаханая, утыканная не стреляющими пушками земля – истинное золотое дно! Но кто считал трудности, которые ждут их на этом пути? Они придут – мирные завоеватели, и капитала не приобретут, и на родину вернуться забудут. Через поколение появятся русские Смитовы и Ватсоновы. Огромная страна переварит их и захлопнет в своем чреве. Да хоть Япония нас всех завоюет! Изменится только форма глаз, характер останется все тот же – загадочный...

Однако вернемся в XVIII век. Капитан «Влекомой» был хам. Шхуна была грязной, старой, тесной посудинкой, заваленной подозрительным грузом, который очень боялись подмочить. Матросы целыми днями таскали по трюму тяжелые тюки и гоняли несчастных пассажиров, которые никак не могли обосноваться на одном месте. На пятый день плавания отношения, сложившиеся между командой и пассажирами, смело можно было обозначить таким словом, как ненависть. В самом деле, деньги за проезд взяли немалые, воду давали плохую, да и ту негде было вскипятить – никаких условий! Кроме того, с утра до вечера стращали мелями, противными ветрами, подводными камнями и пиратами: «Вот уж погодите, господа сухопутные! Лихие военные люди[2 - В XVIII веке процветало каперство – захват судов, торговых и частных, принадлежащих воюющей стране. В широком смысле каперством называли морской разбой.] вас захватят, ограбят, а корабль сожгут. И всех в плен, в турецкое рабство!»

Но команду тоже можно понять – ведь кого везем-то? Добро бы пассажиры, а то так, шваль! Эти десять человек представляли собой как бы все сословия, но при этом казалось, что каждое сословие путем сложного отбора послало на «Влекомую» худших своих представителей. Кроме Леди, конечно.

Итальянская семья то ли торговцев, то ли циркачей везла с собой клетки с линялыми попугаями и необычайно злобными, голодными обезьянами, которые целыми днями орали и выли на все лады. Унылый, благообразный господин, чистюля и скупец ужасно чванился, какой он замечательный брадобрей, а потом так постриг штурмана, что последний, посмотрев на себя в зеркало, поклялся выбросить брадобрея за борт, и не спрячься тот в лабиринте тюков, непременно привел бы свою угрозу в исполнение. От страха брадобрей как-то странно

посинел, а кожа его сделалась голубой. Но после очухался...

У двух всегда пьяных кларнетистов была одна жена на двоих, оба утверждали, что она законная и венчанная. Все их перебранки кончались дракой, в которых больше всего перепадало законной – большой, толстой бабе. Она вообще не закрывала рот, хвастаясь синяками так, словно они были орденами, полученными на поле битвы.

Еще был мелкий, пожилой человек, называющий себя бароном. Одет он был роскошно. Желтое, лилипутье лицо его выражало спесь, неимоверной длины шпага отчаянно бряцала, задевая за бочки, мачты и снасти. С самого первого дня он стал оказывать Леди знаки внимания, и спасла девицу только бортовая качка. Барон совершенно скис. Трудно помышлять о любви, когда ты висишь, перекинувшись через борт. Удивительно, сколько этот миниатюрный человек выблевал всякой дряни, во всяком случае, больше собственного веса – подсчитали пассажиры. Мнение о бароне особенно упало, когда наступил штиль. Хозяйка обезьян заявила со всей определенностью, что барон украл у нее яблочный пирог – подсохший, конечно, страшный, его уже и пирогом нельзя было назвать, но попроси... Теперь пассажиры в один голос заявили, что если «так называемый барон» еще раз попробует навязывать Леди свои дурацкие ухаживания и подмигивания, то его свяжут и отнесут в трюм, или посадят в клетку к обезьянам, или... за борт его, чего там церемониться!

– Я умоляю вас, зачем так строго? – краснея восклицала Анна. – Уверяю вас, господа, я сумею постоять за себя. А барон так несчастен! Он одинок. Он мне все рассказал...

Наконец пришли в Мемель[3 - Теперешняя Клайпеда.], запаслись питьевой водой. Пассажирам запрещено было сходить на берег. Все стояли на палубе, глядя на скрытый туманом город. Здесь уже погуляла война. Разговоры на «Влекомой» велись о происшедшей здесь недавно морской баталии. Никто толком ничего не знал, но говорили очень авторитетно: город лежит в развалинах, пленных не брали, и вообще не понятно, зачем мы здесь торчим – может, русские взяли нас в плен? Собирались было послать на берег делегацию, дабы объяснить коменданту города, что они не могут быть пленными, потому что плывут в Россию добровольно. Но вдруг все разъяснилось. На шлюпке появился капитан, на веслах сидели матросы в незнакомой форме. Шлюпка пристала, и на борт подняли раненого морского офицера. Он лежал на носилках в бессознательном состоянии.

– Русские, – уверенно сказал цирюльник. – Я знаю этот язык.

Будущие жители России сразу притихли, стали очень внимательными. Старший из команды долго, приказным тоном говорил с капитаном. Тот молча кивал. Разговор кончился тем, что русскому офицеру отвели лучшее место на шхуне, если таковым можно было назвать узкое и полутемное помещение рядом с каютой капитана. Однако шустрый денщик с помощью десятка немецких слов сообщил капитану, что днем они с господином будут обитать на палубе, а на ночь он будет уносить раненого в указанное помещение.

Влекомая не столько фортуной, сколько человеческой настойчивостью, шхуна пустилась далее преодолевать морские мили. Любопытство к русскому офицеру не ослабевало, и скоро стали известны первые подробности. Офицера зовут Алексей Иванович, он богат, сам капитан корабля, а если еще нет, то вот-вот будет. Но, кажется, его собственный корабль по причине ремонта в осаде Мемеля не участвовал. Алексей Иванович воевал на чужом судне. Ядро, или осколок от него, угодило ему в ногу, чудо, что ее не оторвало, тем не менее рана была страшная. Вначале все шло к благополучному выздоровлению, но потом состояние его ухудшилось и начался антонов огонь. Прусские лекари твердо стояли на том, что ногу надо отнять, но русские настояли – оставить. Была сделана операция, но не ампутация, антонов огонь удалось остановить. Раненому стало лучше, однако сейчас главное для него покой, целебный морской воздух и возвращение домой.

Все эти сведения принесла юная Леди, которую пассажиры как бы откомандировали для налаживания связей с представителем России. Анна не сразу согласилась выполнять это поручение. Природная скромность заставляла ее просто стоять у борта и с отвлеченным видом рассматривать чаек. Только изредка она бросала взгляд на лежащего в шезлонге раненого, который при помощи денщика пил из чашки бульон. Но как только с бульоном было покончено, денщик, словоохотливый и быстрый, пришел на помощь.

– Их сиятельство спрашивают, – сказал он, приблизившись к девушке и нагловато заглядывая ей в глаза, – сколько на сим замечательном судне, проще говоря корыте, обретается пассажиров?

Красноречие денщика пропало зря, Анна не знала ни слова по-русски.

– Брось, Адриан, какое я сиятельство? Что ты голову людям морочишь? – проворчал раненый.

Но денщик не успокоился, только хмыкнул и с трудом начал переводить свой вопрос на немецкий.

Девушка робко приблизилась.

– Десять, – она улыбнулась и, решив, что офицер ее не понял, подняла вверх очень красивой формы руки и чуть растопырила пальцы. На указательном вдруг блеснул крупный, хорошей огранки алмаз, повернутый камнем внутрь. Девушка смутилась и спрятала руку в карман.

– Ах, десять? – раненый улыбнулся и откинулся на подушки.

На вид ему было около тридцати, но, присмотревшись, можно было сказать, что он значительно моложе. Он был без парика. В челке надо лбом, в манере слегка морщить нос, загораживаясь рукой от солнца, в беспомощной улыбке было что-то мальчишеское. На его коленях лежала набитая табаком трубка, которую он не курил, а только ощупывал тонкими, очень чистыми, как бывает у больных, пальцами. На щеке его была родинка, которая очень ему шла. Непомерно большая, туго забинтованная нога его покоилась на черной подушке, но казалось, болезнь сосредоточилась в глазах, мутноватых и грустных. Веки его слегка подрагивали, готовые в любой момент закрыться от усталости. Однако было видно, что раненому осточертело болеть и он радуется любой возможности хотя бы в разговоре вернуться к нормальной жизни. Он неплохо изъяснялся по-немецки, и разговор завязался.

Она плывет в Россию в поисках счастья. Ее добрая мать должна была плыть с ней, но в последний момент болезнь (о! нет! не смертельная, подагра, сударь!) приковала ее к постели, и дочь (меня зовут Анна, сэр) была вынуждена путешествовать в одиночестве. Так уж случилось... Она едет к дяде. О! Дядя уже пять лет служит в России. Он чиновник, весьма уважаемый человек. Она надеется, что дядя ее встретит. О приезде Анны матушка еще загодя известила брата письмом.

Анна говорила с явным удовольствием – вы задаете вопросы, так отчего же не ответить. Видно, такая у вас, русских, манера. Но в каждом ее ответе звучала

недоговоренность. Она легко начинала фразу, а потом замирала на полуслове, словно раздумывала, называть фамилию дяди или не называть, вспомнить его петербургский адрес или забыть навсегда. Весь ее вид говорил: если вы мне до конца не верите – и не надо, потому что жизнь сложна, в ней много подводных камней и неожиданных поворотов. Но вы же умный, господин офицер, вы должны понять, что если девица бросилась одна пересекать Балтийское море, то ее вынудили к этому особые обстоятельства, и она, эта девица, достойна уважения и сочувствия. Впрочем, разговор по большей части шел не об Анне, не о Германии и не о Петербурге, а о великой битве при Мемеле.

Это была первая серьезная победа русских. Алексей Иванович говорил вдохновенно, а Адриан пересказывал бытовые подробности, без которых не обходится ни одно, даже самое великое событие. Ему не хватало немецких слов, Алексей Иванович с удовольствием переводил, а потом все вместе весело хохотали. Прочие пассажиры с завистью поглядывали на эту троицу.

Тем временем Санкт-Петербург приближался, и заботы пассажиров склонялись к делам сухопутным. Все обсуждали друг с другом порядки русской таможни, об этом они были наслышаны еще дома, читали вслух рекомендательные письма, уточняли месторасположение улиц, кирхи и католического собора – места встреч всех иностранцев в северной столице.

Как назло зарядили дожди. Адриан перенес своего хозяина в помещение, гордо называемое каютой. Вид у денщика был озабоченный – барину стало хуже. Как-то вдруг, ни с того ни с сего, дня три назад Алексей Иванович вдруг резко похудел, нос заострился, темная родинка на щеке словно припухла, и кожа на лице покраснела – у него поднималась температура.

Острова Гогланда в Финском заливе проходили в полном тумане при неверном ветре. О, кто из плавающих в этих водах не знает подлые подводные камни у Гогланда и Фридрихсгамна?! Гудящие, тугие, полные ветра паруса, резкие отрывистые команды, капитан сам встал к штурвалу. В душе у каждого была одна молитва – только бы не сесть на мель! В этот-то момент и появился на палубе Адриан с истошным криком:

– Лекаря, лекаря, черт подери! Неужели на шхуне нет лекаря?! – он метался по палубе, но все отмахивались от него, воспринимая денщика как досадную помеху.

Наконец скучный цирюльник, который, как и свойственно людям его профессии, считал себя хирургом, переступил порог каюты, где находился раненый. Визит его кончился неудачно. Он вдруг выпрыгнул на палубу, похоже, от пинка в зад. Цирюльник не обиделся, а рассказал шепотом пассажирам, что русский очень плох. «Испарина, судари мои, пульса никакого. Я предложил ампутацию, но денщик меня просто не понял».

– Отлично он тебя понял, кретина! – подал голос маленький барон. – Зачем лез? Для неприятностей в таможне? Или для знакомства с русской полицией?

Ночью, когда страшный остров Фридрихсгамн остался далеко позади, а до Кронштадта осталось не более пятидесяти миль, Анна решила подойти к заветной двери и осторожно, пальчиком постучала. Адриан не удивился ее приходу.

– Плохо... – сказал он негромко. – Очень плохо. – И Анна его поняла.

– Но он жив? Дышит? – видя, что Адриан не улавливает смысла ее слов, она сама тяжело задышала, положив руку на грудь.

Адриан покосился на высокий девичий бюст и сказал, словно себе самому:

– Все равно не пущу...

В глазах девушки неожиданно заблестели слезы. Она поставила на палубу шляпную коробку, молитвенно сложила руки. Если бы Адриан понимал не только десять немецких слов, но и ее страстную, потоком льющуюся речь, он узнал бы тайну прекрасной Анны. Она сказала неправду. Она совсем одна. В Гамбурге у нее никого нет. Мать не благословляла ее в дальнюю дорогу... Дядя в Петербурге – чистый вымысел... Она так рассчитывала на господина Алексея Ивановича! По сути дела, он ей обещал. Он так добр...

– Ну, будет, золотко. Смотришь, и поможет Господь, – проворчал Адриан и захлопнул дверь.

Призывая Господа, он, конечно, думал о своем хозяине, а не о немецкой фрейлен. Адриан сейчас вообще не мог думать ни о чем, кроме как о болезни

Алексея Ивановича. А что немка плачет так, как ей не плакать над таким красавцем? Приглянулся он ей, видно, вот и жалеет. На Алексея Ивановича многие дамы глаз косили, но посторонитесь, милые, увольте, нас в Петербурге Софья Георгиевна ждет – супруга капитана Корсака.

В порт Кронштадт, что расположен на острове Котлин, прибыли под вечер, но было совсем светло. Таможня была придирчива. Багажи обыскивали тщательно, лазили даже в клетку к обезьянам, заглянули в шляпную коробку Анны, где лежало белье. Придрались, как ни странно, к маленькому барону. В его бауле обнаружили пару французских пистолетов. Кто ж знал, что в Россию надо ехать безоружным? Таможенник не понял тонкой насмешки, он начал кричать и все повторял: «По законам военного времени!..» Барон тоже повысил голос. В общем, его неожиданно сняли на берег. Никто ему не посочувствовал, кроме Анны. Видно, отчаявшись получить помощь от Алексея Ивановича, она рассчитывала на поддержку барона.

– Не волнуйтесь! Обойдется! Россия – страна непредсказуемая! – выкрикнул он пылко, похлопал по плечу брадобрея и сошел по сходням на берег.

К общему удивлению, таинственный груз шхуны не вызвал задержки. Свою положительную роль сыграл также раненый офицер. К нему вызвали лекаря. После беглого осмотра тот стал настаивать на скорейшем отплытии шхуны.

Бледные белые ночи северной столицы, все улицы, площади, церкви, конюшни и лачуги бедняков залиты словно разбавленным молоком. Тихие, помятые пассажиры сошли на берег, даже попугаи с обезьянами молчали. Супруга кларнетистов в шелковом платье со старательно запудренными синяками испуганно озиралась, открыв рот. Итальянская семья таскала багаж. Цирюльник надел на плечо какой-то мешок и, засунув руки в карманы, словно они у него мерзли, засеменил прочь. На Анну никто не обращал ни малейшего внимания. Все понимали, теперь каждый за себя, а отношения, которые сложились на корабле, не более чем миф, прошлое, небылица.

Неслышно подошел вельбот. Туман гасил лязганье уключин, вода совершенно беззвучно стекала с лопастей весел и так же беззвучно падала вниз. Молчаливые моряки быстро взбежали на шхуну и через минуту осторожно снесли по сходням бесчувственного Алексея Ивановича. Лекарь шел впереди, Адриан замыкал шествие. Раненого перенесли на вельбот, который беззвучно удалился от пристани. Моряки гребли как один – в лад, лица их были

сосредоточены, вот уже не видно лиц, а только контур их угадывается в тумане. А вот и контур пропал.

Бог мой, как тихо! Когда Анна оглянулась и осмотрелась, недавних попутчиков уже не было. В бревна причала била волна. Колонны белели вдалеке, как кости великанов. Загадочная столица втянула в себя и попугаев, и циркачей, и флейтистов. Она осталась одна.

Великое мужское содружество

Александр Белов получил назначение в кирасирский полк еще в апреле и сразу направился в армию. Направление свое он рассматривал как избавление от службы в казарме, которая не давала ему ни удовлетворения, ни повышения в чине. Все вакантные чины в Измайловском полку были заняты. Как известно, гвардия противу армейской кавалерии и пехоты имеет преимущество в два чина. Поэтому, оставшись капитан-поручиком гвардии, он сразу стал ротмистром, что приравнивалось к армейскому полковнику. Но главной причиной, заставившей его бежать из дома, были крайне сложные отношения с женой Анастасией Павловной, когда-то гордой красавицей, а теперь больной, измученной жизнью женщиной. Александр не мог понять, что это за болезнь, медики тоже разводили руками. Сама Анастасия считала, что это чахотка.

Главной бедой своей жизни считала она не казнь и ссылку матери, не потерю богатства, не трудности и лишения, выпавшие на ее долю во время бегства с Брильи, а то, что отвратила от нее свой лик государыня Елизавета, запретив появляться при дворе. Девять лет прошло с той поры. Болезнь мучила Анастасию бессилием физическим, худобой, синяками под глазами, полыхающим румянцем, однако дух ее не только не был сломлен, но и еще более окреп в борьбе с житейской несправедливостью. Только другую песню пела душа ее. Анастасия стала праведной христианкой, самой праведной – до фанатизма. Заметим вскользь, что если в молитве к Господу ты мыслишь себя самым лучшим, самым чистым и искренним, то лучше не молиться вовсе, потому что сие есть гордыня, чувство, особенно порицаемое православной церковью. Об этом и говорила не раз игуменья, мать Леонидия, племяннице, и Анастасия соглашалась, что ангельская кротость ей более пристала. Однако болезнь или жар душевный сжигали ее, как вулкан. Проведя месяц в кротости, она опять начинала

сотрясать устои человеческие, порицать всех, учить, наконец, требовать. Только тот достоин имени человека, кто бросил сей мир греховный и ушел в монастырь.

Сама она тоже мечтала совершить сей подвиг, но не сейчас. Вначале надо было доказать императрице, что та была жестока и несправедлива к ней и маменьке Анне Гавриловне. Мало того, доказать, нужно было увидеть раскаяние Елизаветы. В мечтах Анастасия видела государыню с потупленным взором, со скорбно опущенной головой.

– Вы были правы, я – не права, – вот что должна была сказать Елизавета, а просветить ее должны были не люди (что возьмешь с глупых и слабых), а сам Господь Бог.

Но видно, не пришло еще время для прозрения.

Когда по Петербургу поползли слухи о болезни государыни, то Анастасия связала эту хворь со своим порушенным семейством – значит, такова воля неба, значит, такой способ наказания выбрал Господь. Однако недолго ей пришлось наслаждаться торжеством справедливости. В этот же месяц Анастасия сама заболела, сильно прозябнув на ветру. Вылечилась с трудом, и теперь малейшая простуда вела к непроходящему кашлю.

– Мы должны ехать в Италию. У меня порча в легких, – говорила Анастасия мужу.

– Душа моя, лекарь утверждает, что это болезнь бронхов. Тебе не надо стоять так долго на коленях в храме. Там такой холодный пол. И сквозняки... А в Италию я сейчас поехать не могу. Война в Европе, а я человек военный, пойми...

Анастасия была глубоко равнодушна к войне в Европе, к чести русской армии и коварству Фридриха. Нельзя так нельзя, но зачем все эти патриотические заклинания?

Второй причиной, удерживающей ее от монастыря, была любовь к мужу, но и она видоизменилась вместе с характером. Александр стал не нежен, равнодушен к ее беде (читай – отношения с Елизаветой, вернее – отсутствие этих отношений), не тонок и эгоистичен. Упрекнув Александра в безразличии

к чести Головкиных-Ягужинских-Бестужевых, она тут же могла бросить, как бы между прочим, что, мол, это безразличие вполне естественно: она, Анастасия, подняла мужа до своего уровня, а он как был мелкопоместным дворянчиком, так им и остался. Что он понимает о чести? Понятие об этом у него такое, как у всей этой дворянской мелюзги, а Головкины с царями были в родне...

Александр сатанел.

– Но я ведь не могу вызвать Елизавету на дуэль! Ты это понимаешь?

Нет, Анастасия этого не понимала. Оскорбив мужа, она смотрела на него с таким презрением, что у Александра сами собой сжимались кулаки. Его папенька никогда не бил маменьки, но дядя по отцовской линии... словом, у тетки всегда были малинового цвета щеки, говорили, муж раскрашивал от строптивости. Но нет, никогда он и пальцем не тронет Анастасию. Во-первых, любил, во-вторых, тоже любил, а в-третьих, жалел. Надо еще сказать, что с годами Анастасия стала до неправдоподобия ревнива. Она ревновала мужа не только к хорошеньким женщинам где-нибудь в театре, на балу или на улице, но и к служанкам, к прачкам, к его службе (там могут быть женщины!), к фонарным столбам и кораблям на рейде, которые, дай срок, увезут обожаемого супруга к дальним берегам, где полно грудастых, веселых, наглых, в браслетах и бусах. Ночь остужала страсти, но утром начиналось все сначала.

Его отъезду в Ригу предшествовал очень трудный разговор.

– Как ты можешь ехать, бросив меня здесь одну, больную?

И он отвечал все то же:

– Идет война, я солдат...

В последнем Александр, конечно, слегка фасонил. Он никогда не ощущал себя солдатом. Гвардейцем – да, там, где казарма, хорошие мужские отношения, дежурства, карты, выпивка, интрига, бал, он был в первых рядах, но пороховая пыль вперемешку с дорожной... ее он еще не нюхал, не приходилось. Да и не любил. И Анастасия отлично знала это.

– Ты – солдат? Ты фат! Ха-ха! Можно подумать, что русская армия без тебя не обойдется. И потом, я знаю: эта война неужодна Богу... все войны неужодны Богу!

– В его власти их прекратить, – резонно отвечал Александр, но, зная, что этот бессмысленный разговор может завести в дебри, из которых не выберешься, тут же шел на попятный: – Война скоро кончится, уверяю тебя.

– Я уеду к матери Леонидии, так и знай! И мы больше никогда не увидимся!

– Зачем так грубо намекать, что меня убьют?

– Это меня убьют! Меня убьют болезнь, горе, слезы... Я умру в дороге.

– Не надо, душа моя, – как всегда, Саша мирился первым. – Я сам отвезу тебя в Вознесенский монастырь. Там тебе будет хорошо. Покой, красота... Козье молоко тебя поставит на ноги.

На том и порешили. Прямо из монастыря Александр поехал в армию и прибыл в Ригу в последнее число апреля[4 - Напомним, что год на дворе 1757-й.]. Это был как раз день праздника, как окрестили смотр русских войск жители Риги.

Смотр был приурочен к переходу армии через реку Двину по только что наведенному понтонному мосту. Прежде чем вступить на мост, армия должна была промаршировать по всему городу. Скопление народа было необычайное. Забиты людьми были все улицы, городские валы, а также окна, балконы и крыши. Некоторые смельчаки забрались на кровли соборов и оттуда, с птичьего полета, наблюдали парад. Сам фельдмаршал Апраксин со свитой, штабом, генералами Лопухиным и Фермором разместились почти у входа на мост в роскошном шатре. Второй, не менее роскошный, шатер был предоставлен знатным горожанкам города Риги. Здесь присутствовали дамы всех возрастов и сословий, праздничная музыка оживляла лица, все они были прехорошенькие.

Перед тем как добраться до шатра Апраксина, Белов постоял в толпе, наблюдая, как прошли фурыеры с вымпелами, как вели лошадей командующего. Лошади были заводные, великолепные, яркие, шитые разноцветным шелком вольтрапы

придавали им сказочный, восточный характер. За лошадьми везли пушки с ящиками, в которых лежали снаряды.

Здесь Белов не утерпел и встал в строй, кто-то из солдат украсил его шлем, по примеру прочих, дубовой ветвью. Музыка, знамена, бой барабанов, улыбки – великое мужское содружество, армия! Александр был счастлив. Прекрасное чувство – любовь к женщине. В юности ты полностью сосредоточен на этом чувстве. В зависимости от расположения к тебе той, что царит в сердце, ты испытываешь величайшее блаженство, поднимаясь душой в горние выси, или падаешь в бездну горя и безверия. Вот такие пироги...

Но все проходит. Возлюбленная становится женой, а существование под одной крышей двух любящих сердец во все времена называется словом «быт». А от быта сбежишь куда глаза глядят! Не может нормальный мужчина сидеть всю жизнь подле юбки, даже если это лучшая юбка на свете! Бегство... и множество мужчин, старых и юных, собираются в одном месте. Выпили, закусили, ну еще раз выпили, а потом что? А потом драться будем! Отсюда и война. А патриотизм, защита отечества – это уже потом придумали. Так думал тридцатилетний ротмистр, глядя на ладных, крытых попонами жеребцов. Потом рассмеялся. С этой минуты армия для него – дом родной.

Через час Александр уже рапортовал полковому командиру о прибытии. Спустя еще час он отыскал шатер фельдмаршала Апраксина, дабы вручить ему депешу за личной подписью Бестужева.

Апраксин был весьма доброжелателен, спросил, не желает ли Белов служить при штабе. У него много адъютантов, он уже сам не знает толком – сколько, посему еще один никак не помешает делу. Белов ответил отказом, украшенным одной из самых своих неотразимых улыбок: грусть и кротость, он, ваше высокопревосходительство, желал бы послужить отечеству в армейском полку.

Вечер того же дня Белов отдал знакомству с полком и дружеской попойке, а утро было посвящено изготовлению цветных кисточек, которые следовало прицепить к углам шляп. Так отличали полки один от другого, а штабных от всех прочих. Кисточки связывались из цветных гарусных ниток, которые выдергивались из разноцветной шерстяной ткани. Пустая работа, если бы денщик Белова, Тарас, как обнаружилось, не страдал дальтонизмом. Два часа Александр просидел подле него, руководя работой. Две кисточки надлежало пришить к двум задним углам шляпы, а третью прикрепить стоймя, несколько

сбоку, поверх банта. Кажется, мелочи, но именно к мелочам в армии относятся серьезнее всего.

3 мая произошел торжественный выезд генерал-фельдмаршала Апраксина из Риги. Выезд сопровождался канонадой пушек и царской пышностью. Белов еще в Петербурге слышал о необычайном расточительстве фельдмаршала, особенно если в ход шли государственные деньги, которые счету не имеют.

В тот же день вся громада – три дивизии – двинулась разными дорогами через Курляндию в Польшу.

В Петербурге

Если бы кто-нибудь вызвался рассказать автору о причинах Семилетней войны (с трудом представляю себе этого человека), я попросила бы его сделать это как можно проще! И уверяю вас, это самое трудное. Попробуйте рассказать просто, почему развелись двое, обремененных домом, детьми, прежним счастьем. Самый простой ответ – разлюбили друг друга. Ответ точен, но неинформативен, он ничего не объясняет. А там было такое стечение обстоятельств, случайностей и закономерностей, что сам черт ногу сломит.

Конечно, наивно сравнивать развод с началом войны, но и в том, и в другом случае правил ген разрушения. В чем сущность европейской политики в XVIII веке? Любой историк скажет: война за так называемое «австрийское наследство», то есть земли распадающейся Австро-Венгерской империи, которой правила Мария-Терезия, но не могла удержать в своих руках. Естественно, появился тот, кто захотел захватить кусок земли, и побольше. Захватчиком и агрессором, эдаким Наполеоном XVIII века показал себя король Пруссии Фридрих II.

Фигура сложная, противоречивая, еще при жизни он «заработал» прозвище Великий. Отец – Фридрих-Вильгельм I, солдафон и вояка, мать – Софья Доротея, принцесса Ганноверская[5 - К слову сказать, король Англии Георг II являлся одновременно курфюрстом Ганновера, с этого все и началось.].

Король Вильгельм воспитывал сына в суровости. Наставление учителям: не надо латыни, немного древней истории, немного математики – она нужна для фортификации, а главное, принц должен понять, что путь солдата – единственный путь к славе. Наставление сыну: «Держаться только реального, то есть иметь хорошее войско и много денег, ибо в них слава и безопасность государя».

Но юный Фридрих обожал учиться и, потакая своим стремлениям, завел в наемной, отдельной от дворца квартире личную библиотеку – книгохранилище, куда украдкой наведывался. Там были книги любимые и главные: «Государь» Макиавелли, «Утопии» Моруса, «Республика» Бодяна и «Вечный мир» аббата де Сан-Пьера.

Фридрих был женат, но не имел детей. Он был талантливейший полководец, дипломат, философ, поэт. Фридрих был веротерпим. Он отменил пытку, дружил с Вольтером, покровительствовал Берлинской академии. Фридрих стал героем нации – ярко выраженный немецкий характер. Его армия была великолепно обучена, вымуштрована, дисциплинирована. Его тактика – стремительность, неожиданность и абсолютная беспринципность по отношению к союзникам. Он очень высоко ценил работу тайных агентов и шпионов и буквально наводнил ими Европу. Он никогда не строил укреплений и фортификаций, чтобы его солдаты не перешли к обороне. Только наступление!

Фридрих II Прусский был замечательный человек, но он нес Европе горе, слезы и кровь.

18 августа 1756 года Фридрих вторгся в Силезию. Указом от 1 сентября того же года Елизавета объявила Пруссии войну[6 - В задачу автора ни в коем случае не входит изучение Семилетней войны как предмета, в данном повествовании она является только фоном, иногда соучастником жизни героев, но не более. Сама война – кровавый монстр, в чьи глаза я не хочу заглядывать, – не является «героем» произведения.]. Но до военных действий было еще далеко.

Главнокомандующим русской армии был назначен Степан Федорович Апраксин, сын знаменитого сподвижника Петра I. В марте, по требованию канцлера Бестужева, самой государыней был учрежден военный совет, или Конференция, из следующих особ: великого князя Петра Федоровича, графа Алексея Бестужева, брата его Михайлы Бестужева, генерал-прокурора князя Трубецкого, сенатора Бутурлина, вице-канцлера Воронцова, сенатора князя Голицына,

генерала Степана Апраксина и двух братьев Шуваловых – Петра и Александра. На одной стороне воевали Франция, Россия, Австрия, Швеция, на другой – Пруссия и Англия.

Все эти вопросы со всевозможнейшими подробностями, предположениями, догадками и верой во славу русского оружия и «нашу победу» множество раз обсуждали два друга – выздоравливающий после ранения Алексей Корсак и князь Никита Оленев.

Когда Никита после записки, присланной Софьей, примчался туманным утром в дом на Литейной стороне, он нашел Алексея без сознания. Не одну ночь просидел он вместе с полковым лекарем у изголовья друга, слушая горячечный бред: «Руби фок!.. Качай воду... Ведро неси!.. Лей уксус на ствол!.. Заряжай, пли!» Уксус лили на орудия для охлаждения. Никита менял смоченные в уксусе полотенца, клал их на лоб Алексею и представлял черных, обугленных матросов, у которых пот на лбу шипел. Прусское ядро рвет снасти, горит фок-мачта, уксус налит в бочки, его черпают ковшами... Кровь тоже пахнет уксусом, едко...

Как рассказывал потом Алексей, видения Никиты вполне соответствовали действительности, битва была лютой. Прам «Элефант», на котором был Корсак, обстреливал Мемель, а по ним с берега била вражеская батарея. Гарь, вонь, раскаленные докрасна пушки, ядра скачут по палубе. Еще один залп... совсем рядом огонь, а дальше он не помнит.

Алексей уже не видел, как загорелся Мемель. Теперь ничего не стоило взять город, весь флот надеялся на решительность армии. Однако сухопутный генерал Фермор осторожничал, выбрал осаду и ждал до тех пор, пока депутация горожан сама не вынесла ему ключ от города на бархатной подушке. Не важно, как победить – атакой или терпением, но виктория! Фермор был благодушен и весел, он позволил прусскому гарнизону уйти из Мемеля с оружием. Такое благородное отношение к поверженным врагам заслуживает уважения, но соратники это Фермору потом припомнили.

– А что столица? Бурлит? Как отнеслись к нашей победе? Что теперь? – все эти вопросы Корсак задавал неустанно, и Никита рассказывал ему на свой лад.

В Петербурге давно ждали начала войны, а как случилась баталия под Мемелем – первая! – то как будто и удивились. Да и как не удивиться, если

главная армия во главе с генералом Апраксиным топталась где-то в Польше, не решаясь переступить границы Пруссии. Шутники в столице поговаривали, что государыня Елизавета изволили премию назначить тому, кто пропавшую русскую армию сыщет. Канцлер Бестужев негодовал и писал от имени Конференции депеши, но его послания носили скорее философический, чем распорядительный характер.

Фельдмаршал Апраксин с охотой отвечал другу (а именно таковым был Бестужев), но каждый отчет его дышал истинной печалью. Оказывается, русскую армию ждали в Польше великие трудности и несносные жары. Из-за последних обмелели реки и провиант с фуражом пришлось подвозить не водой, а на обывательских подводах, что суть долго, трудно и неудобно, и еще случилось много больных желудком из-за плохой воды и тех же несносных жар.

Были, конечно, в армии Апраксина желудочные заболевания, но другая и главная заразительная болезнь сковала русскую армию – нерешительность. Первым заболел этой болезнью, как ни странно, сам Бестужев. Сразу после объявления войны Пруссии этот сугубо штатский человек сочинил инструкцию по стратегии и тактике русских в этой войне. Армии надлежало раскинуться вдоль границы, чтобы она «обширностью своего положения и готовностью к походу такой вид казала, что... все равно – прямо ли (ей) на Пруссию или влево на Силезию маршировать». Далее шли многочисленные пункты... Мы не будем утомлять читателя подробным их рассмотрением, сошлемся только на военного историка Д. М. Масловского: «В общем выводе по инструкции, данной Апраксину, русской армии следовало в одно и то же время и идти, и стоять на месте, и брать какие-то крепости, и не отдаляться от границы»[7 - Масловский Д. М. «Русская армия в Семилетнюю войну». 1890 г.].

Понятно, что Никита ничего не знал об инструкции Бестужева, поэтому в его рассказах было куда меньше желчи и оскорбительного остроумия.

С Фридрихом II воевали не одни русские. «Не торопись! Зачем бежать впереди кареты!» – советовали умники из Петербурга, и не абы кто, а сам Иван Иванович Шувалов, фаворит государыни.

Апраксин стал фельдмаршалом не по природной склонности или специальному образованию, а по тем дворцовым отношениям, которые сами собой возносят человека наверх – он был знатен, очень богат, близок к государыне, считался другом Бестужева, воевал когда-то с турками... и вообще больше некому.

Армия нашлась наконец под Вержболовом в полумиле от прусской границы в ожидании подхода остальных войск, которые не могли поспешать из-за тесноты дорог. Когда же они соберутся все вместе? Когда начнут воевать?

И вдруг 28 августа в четыре часа утра (год прошел с объявления войны, на дворе уже 1757-й) Санкт-Петербург сотрясла пушечная пальба. Взмолнованные жители считали выстрелы – сто один раз пальнула пушка! Матерь Божья, это могло быть событие только чрезвычайное!

Прежде чем бежать к Алексею, Никита позаботился о покупке газеты. «Ведомости» сообщали, что вчера в девять часов вечера в Царское Село, где находилась государыня, с трубящими почтальонами прискакал курьер генерал-майор Петр Иванович Панин с громоподобными известиями. 19 августа под местечком Гросс-Егерсдорф на берегах реки Прегель русская армия одержала полную победу над прусским фельдмаршалом Левальдом. Путь на Кенигсберг был открыт!

Никита сидел уже в карете, когда появился молоденький вестовой: здесь ли изволит проживать князь Оленев? Вестовой принес письмо от друга Александра Белова. Писал Сашка из армии чрезвычайно редко и скупно, вся информация о его военной жизни обычно уместалась в одно слово: «осточертело!» А здесь несколько листов настрочил. Письмо, оказывается, было передано Александром кому-то из свиты генерал-майора Панина.

Корсаки занимали теперь не флигель в глубине сада, а «большой», как его называли, каменный дом, в котором проживал когда-то ювелир двора Ее Величества Луиджи. Восемь лет назад он отбыл в родную Венецию, а дом на чрезвычайно выгодных для себя условиях продал своему бывшему постояльцу.

– Ах, наконец-то! – встретила в прихожей Никиту Софья. – Он ждет тебя с самого утра. Ты слышал выстрелы в крепости? Они нас разбудили. Говорят, победа... – она крепко пожала ему руку и, не выпуская ее, повела гостя по анфиладе комнат. – Доктор Лемьер говорит, что ему пора бросить костыли. Мы попробовали. Алексей все еще очень слаб... и так неловок! Знаешь, ему надо заново учиться ходить.

– Сегодня же и начнем.

Софья вдруг остановилась.

– Ты не огорчай его. Хорошо?

– Чем же я могу его огорчить, если победа?

– О, я уж не знаю! Каждая победа имеет свою изнанку. И он, как ребенок, все так близко принимает к сердцу...

– Читай! – сказал Никита вместо приветствия и протянул Алексею «Ведомости».

Тот не просто прочитал, а, что называется, съел заметку. Прочитанное возбудило его до крайности.

– Помнишь, Никита, я говорил, что Мемель только начало! Не пристало русскому солдату бояться Фридриха. Вот и прищемили хвост прусской гидре!

«Гидрой» Фридриха обозвала государыня Елизавета. Прозвище стало известно не только в армии, но через газеты дошло до самого Фридриха. Король не обиделся: «Я хотел бы быть гидрой, чтоб у меня после каждого боя вырастали новые головы взамен отрубленных!»

– Я счастлив! – заключил Алексей и почти без сил повалился на подушки. – Что ты морщишься?

– Надо быть скромнее, друг мой, – это была обычная присказка Никиты. – Знать бы, что мы потеряли у чистой речки Прегель. И что теперь нашли...

В спорах он никогда не остужал патриотического пыла Алексея, слушал, кивал, а потом незначительной фразой смазывал весь разговор и уводил его в сторону.

– Что потеряли? Это тебе может объяснить каждый солдат! – запальчиво воскликнул Корсак.

– Не каждый. В этой баталии пять тысяч наших Богу душу отдали.

– Об этом «Ведомости» пишут? А у Левольда какие потери?

– Нет, в газете нет пока таких подробностей. Просто я от Сашки письмо получил, от очевидца, так сказать...

– И ты молчишь? Сашка прислал письмо после Гросс-Егерсдорфской битвы, а мы тут катаем во рту казенные сведения? А как ему удалось так быстро?..

– Он его не по почте послал, а с оказией. Видно, хороший человек его вез. Надежный... Вряд ли Сашка доверил бы подобные сведения военной почте.

– Это почему же?

– В военное время существует цензура.

– Оленев, ты хочешь сказать, что Сашкино мировоззрение таково, что его нельзя доверять... что цензура может найти... – Алексей хотел защитить друга, вернее, его честь, его порядочность, если хотите... но фраза никак не желала кончаться.

Никита перебил его со смехом:

– Слушай, Алешка, насколько я знаю Белова, у него вообще нет мировоззрения, у него нет идеалов... понимаешь? Он видит жизнь такой, какая она есть. Он пишет, что Апраксин панически боится Фридриха, что никто не собирался давать решительный бой. Русская армия наткнулась на пруссаков случайно... в тумане. Паника была страшная. Потом собрались с духом, я думаю, просто разозлились. Ты сам знаешь, если русского мужика разозлить, он пойдет крушить дубиной направо и налево. И уже наплевать ему, умрет он или жив останется.

Алексей молча, исподлобья смотрел на друга, левое веко его чуть вздрагивало.

– Исход дела решили четыре полка Румянцева, – бодро заключил Никита. – Они сидели в резерве и в критический момент бросились на выручку. Прорвались через лес и...

– Ты хочешь сказать, что наша победа была нечаянной? У тебя с собой письмо?

– Забыл... по глупости, – покаянным тоном воскликнул Никита.

Письмо Белова он читал в карете, сейчас оно лежало в кармане сюртука, но не стоило забывать слова Софьи: «Ты не огорчай его...» Он и так уже лишнего наболтал, но главное огорчение таилось в конце Сашиного письма. Если описание битвы могло вызвать сложные чувства – обиды, некоторого смущения, затем чистой радости, какие бы они там ни были недотепы, но прижали Фридриху хвост, – то рассказ о дальнейших событиях в стане Апраксина наводил на мрачные размышления. Сам собой возникал знак вопроса, намалеванный черной краской. Саша писал, что Апраксин повел себя после победы по меньшей мере странно – он не преследовал убегающих пруссаков, не двинул армию на Кенигсберг, а отступил. «Вчера поймали прусского шпиона. Я не знаю, о чем его допрашивали, но вид у следователей был смущенный. Шпиона расстреляли на виду армии. Вид лазарета ужасен. Нас косят раны и болезни...» Грустное письмо.

– Хватит восторгаться победами, – решительно сказал Никита. – Займемся делом.

На лице Алексея застыло чуть брезгливое, обиженное выражение, и Никита угадал его смысл. Сейчас война... не важно, что на чужой территории. И на чужой территории русский солдат защищает Россию. И потому каждый порядочный человек должен стремиться в армию. Другое дело – увечье, возраст... но ты молод, здоров, ты мой самый близкий друг... и при этом мало того, что отлыниваешь от служения отечеству, так ты еще порицаешь славу его и доблесть!

– Каким это еще делом? – буркнул он хмуро.

– Будем учиться ходить. Обхватывай меня рукой за шею... Вот так! По...шел!... И еще!

Раненая, много раз резанная нога Алексея была в два раза тоньше здоровой. Обутая в шерстяной носок, больная стопа явно не слушалась, вставала косо и подвертывалась, лоб его взмок от напряжения. Но он шел!

Еще три шага, и Алексей рухнул в кресло. На лице его сияла болезненная, удивленная улыбка.

– Нет, ты мне определенно скажи, – обратился он к Никите, как только перевел дух. – Скажи, как истинно русский, рад ты нашим победам или не рад?

– А ты умом не тронулся? Как я могу быть не рад? И не надо этого... «истинно русский». Ты знаешь, что мать у меня немка. Я просто русский. Но войны не люблю. Я истинно штатский – вот это правда. Ну, обхватывай меня за шею... Нет, теперь я с этой стороны...

Жанровая сцена в нидерландском вкусе

От Алексея Оленев направился домой, ругая себя, что отпустил карету. Дождь уже не шел, а как бы повис над городом мельчайшей водяной пылью, под ногами хлюпало, но башмаки пока не промокли. Плохая погода как нельзя лучше способствует мыслям философическим. Борьба добра и зла, господа, владычествует на свете. Война есть зло. Положим, войну можно объяснить необходимостью, если она, так сказать, освободительная. Войну можно назвать доблестью, геройством, страданием, но только не словом «добро». Ага... правый башмак потек... Еще египтяне признавали два начала добра и зла под именем Озирода и Тифона. В древней Персии великий маг и мудрец Зороастр создал учение, которое стало религией: вся природа распадается на два царства – добра и верховного творца его Ормузда и духа зла, отца лжи Аримана, живущего во мраке.

Завтра определенно он будет в соплях, гадость какая наш петербургский климат... Между Ормуздом и Ариманом идет война до победы первого над вторым. Это добро? Да... Это истина. Человек, находящийся среди войны добра со злом, должен всеми силами содействовать торжеству добра над злом.

Но разве он, Никита Оленев, не служит добру и отечеству, решив помочь Шувалову в создании в Петербурге Академии художеств. Сейчас его подсознательно мучила обида, что Алексей и полвопроса не задал по этой волнующей его теме. А ведь он намекал, о каких таких материях толкует с Иваном Ивановичем Шуваловым. Алексей понял его превратно, бросил,

поморщившись: «В военное время заниматься картинами да бюстами мраморными? Я этого не понимаю. Но пусть его. Чем бы дитя ни тешилось. Однако скажу: не верь фаворитам. Они не умеют работать. Одни разговоры...» Алешка известный матерьялист! Если под ногами у тебя не земля, а палуба и на этом ограниченном пространстве ты главный, то и мысли у тебя особые – капитанские, и способ выражения – безапелляционный.

Размышляя таким образом, Никита вдруг заметил, что оказался у приземистого строения с узкими окнами, крутой, крытой гонтом крышей, в которой было устроено подобие фонаря для проникновения дневного света. Полуразвалившиеся деревянные ворота, выполненные в виде арки, не имели створок, за домом скрывалось некоторое подобие сада. Одна часть дома была совершенно темной, однако окна в левом крыле светились. Там обретался знакомец Оленева немец Мюллер, живописец и антиквар. Давно он здесь не был.

Окна светились столь приветливо, что у Никиты вдруг ни с того ни с сего поднялось настроение: и что он, право, разнылся? На свете еще есть вот такие радостные окна, за которыми его ждут. Последнее он знал точно, потому что накануне получил послание Мюллера, изящное, каллиграфически написанное письмецо, в котором тот в витиеватых выражениях предлагал купить для «коллекции вашей, князь, что есть образчик вкуса» жанровую картину. Расхваливая свой товар, Мюллер не пожалел красок: «Полотно представляет действие гаснувшего света на одного любовника в увеселительном доме где-нибудь в Голландии с рюмкой вина в руке и любовницей на колене».

Никита прошел через палисад, толкнул дверь, миновал темные сени и очутился в просторной горнице. Потолок косо уходил вверх, видны были черные, прокопченные балки. Всюду располагались атрибуты искусства: ваза, старинные книги, свернутые в рулон холсты, золоченые рамы, целая полка была отдана гипсам – головам и конечностям греческих богов и богинь, гигантская мужская стопа с пальцами идеальной формы стояла прислоненная к стене. Но все это было не более чем декорацией прошлой жизни Мюллера. Хозяин забросил живопись, весь отдавшись торговле. Он и сам толком не мог объяснить, почему предпочел покровительство Меркурия против прежнего патронажа Аполлона, так уж получилось. Торговля не приносила ему большого дохода. Иногда в руки его попадали истинные произведения искусства, поскольку он имел связи с богатыми аукционерами столицы, но обычно он торговал мебелью, антикварной посудой, сургучом черным, красным и даже неким составом, который выводил с шерстяной одежды жирные пятна.

К удивлению Никиты, его встретил не только Мюллер, но и молоденькая, необычайно миловидная девица. Она с поклоном приняла у него мокрую шляпу и плащ. Светлые глаза ее вдруг распахнулись, оглядывая лицо князя, и так же внезапно погасли, полужакрытые тонкими, голубоватыми веками.

– О, князь Оленев, ваше сиятельство! – восторженно воскликнул Мюллер. – Какая честь для меня! Проходите, умоляю. А это моя новая служанка, – и добавил суетливо и смущенно: – Так сказать, разливательница чаю...

Весь разговор шел по-немецки. Мюллер знал, что князь владеет этим языком, как родным. Девушка меж тем ловко повесила на растяжки мокрый плащ, придвинула к горящему камину кресло. Она ничуть не смутилась тем, что разговор шел о ней. Рыжеватые волосы ее были украшены наколкой из тонких кружев, атласный пояс фартука обхватывал тончайшую талию. Во всем облике ее было что-то ненатуральное, словно девушка лишь играла роль служанки и давала прочим понять: да, я достойна лучшего, но мало ли как может сложиться у человека жизнь. Потом она сделала книксен и, мурлыча немецкую песенку, удалилась.

Никита сел в кресло и блаженно протянул озябшие руки к огню.

– Я нашел ее у кирхи... на паперти... туманным утром, – продолжил Мюллер шепотом, выразительно кося глазами на дверь, за которой скрылась девушка.

Далее Никита выслушал подробный рассказ о том, как она появилась в России. Слова лились потоком, пока немец вдруг не опомнился – а не слишком ли он много толкует об этой девице?

– Вы получили мое письмо? – осведомился он деловито.

Никита кивнул.

– Замечательно. Сейчас приступим. Но вначале чай. Анна, душа моя... Она живет здесь, как моя дочь, – добавил он, вдруг интимно приблизившись к самому уху князя.

Служанку не пришлось звать дважды. Чайник уже кипел на жаровне с раскаленными углями. На столе появились разномастные, но очень приличные чашки, китайская расписная сахарница, французское печенье в вазочке и русские пряники на подносе. Мюллер наблюдал за служанкой, не скрывая своего восхищения.

– Если ваше сиятельство, осмелюсь сказать, захотят, как в былые времена, взять в руки кисть, то лучшей натуры вам не найти...

В Мюллере говорило не только желание поделить своим богатством, сколько боязнь, что князь все еще не оценил Анну по заслугам. А сидя за мольбертом, увидишь каждую черточку прелестного лица.

– А может, и захочу. Отчего же не захотеть? – с улыбкой сказал Никита, ожидая, что девушка как-то отзовется на эти речи, смутится или запротестует, но Анна по-прежнему была невозмутима.

– Только условие, – Мюллер поднял толстый палец, – греческие или римские сюжеты отменяются. Либо портрет, либо приличная жанровая сцена, что-нибудь этакое, в старинном нидерландском вкусе.

Никита понял, что девушка не согласится служить обнаженной натурой, но не рискнул высказать это вслух, вид у Анны был неприступный. И все-таки его удивило предложение Мюллера. Уж не сводничеством ли теперь решил заняться экс-художник. Непохоже... Мюллер был большим, толстым человеком с выпуклыми глазами, спрятанными за линзами очков, голова его в большом, разношенном парике всегда клонилась набок, выражение недоумения – что за странная жизнь творится вокруг, – а пухлые, доверчивые руки вводили в заблуждение клиентов, заставляя их считать хозяина куда более добрым и покладистым, чем он был на самом деле.

Чай оказался вкусным. Анна стояла у камина, ожидая дальнейших указаний.

– К делу! – Мюллер щелкнул пальцами.

Девушка поспешно вышла из мастерской и вернулась через минуту с небольшой картиной, той самой, которую Мюллер так красочно описал. Здесь были и молодые любовники, и «старуха, приглядывающая за ними вполоборота,

и служанка, беспечно стирающая белье».

– Фламандская школа. Пальхе, – строго сказал Мюллер.

– Сколько?

– Шестьдесят.

– Ух ты! – удивился Никита. – А не многовато ли, друг мой?

Мюллер выразительно вскинул руки, потом протянул их гостю, раскрыв ладони в доверительном жесте.

– Князь, не извольте говорить такое! Мои цены не превышают разумного. Недавно на аукционе за Мадонну с Христом взяли две с лишним тысячи рублей. А я вам скажу – ничего особенного. Конечно, Мадонна есть Мадонна, сидит она в рощице деревьев, находящихся в полном цвету, представлены там еще и птички, порхающие на древесных ветвях. Выходит, по двести рублей за каждую птичку! А здесь же люди... пять человек. Один еще в окно подглядывает.

Видя, что страстный монолог не оказывает на князя должного действия, он вдруг поднял руку и мягко, почти беззвучно хлопнул в ладоши. Никита не успел опомниться, как Анна исчезла и через секунду появилась с другой картиной. Она была несколько меньше предыдущей, небольшой размер ее особенно подчеркивался роскошной, широкой, золоченой рамой.

– Марина с кораблями и фигурами кисти Ван де Вильде, расценивается в четыреста рублей. Ну как?

– Великолепно... – согласился Никита.

Серое небо, лиловое море, паруса на горизонте, похожие на развешенные для просушки простыни, у кромки воды две фигуры, наверное, стариков, и наверное, не просто гуляют, а чем-то заняты, например, ищут янтарь или собирают водоросли. Грустно...

– Оставьте мне все-таки первую – с беспечной служанкой и старухой вполоборота.

– Отлично! – Мюллер прихлопнул в восторге. – Продано, продано, продано... Анна, дочь моя золотая, принеси доброго французского вина, чтобы sprysnut' попку. Вы с собой заберете полотно?

– Не торопитесь, господин Мюллер. Я еще не нашел денег, чтобы выкупить картину. Выпьем лучше за здоровье Анны!

Девушка оглянулась на него, шея изогнулась, рука взметнулась в смущенном жесте, словно хотела отменить тост, но глаза, губы выражали совсем другое, кокетливое, женское, капризное, может быть, даже дерзкое личико Мадонны, которая устала нести свою божественную сущность и захотела стать Евой. Никита засмеялся счастливо, протянул к ней бокал, чтобы добавить к тосту что-нибудь остроумное, игривое, яркое, право слово, Анна заслуживала панегирик, но тайна вдруг исчезла. Она подошла к столу, поставила глиняный кувшин с вином и потупилась – скромная, милая, очень милая девица, но не больше. И все-таки Никита не мог прийти в себя от волнения. Странно, за весь вечер он ни разу не слышал ее голоса. Может, она немая?..

– Анна, скажите хоть слово. Вы как немая.

– Что же вы хотите услышать, князь? – спросила она, все так же не поднимая глаз. Но голос выдал скрытую ее страсть: низкий, музыкальный, он имел в себе множество оттенков и переливов. Воистину, это была удивительная служанка!

– А знаешь что, Иоганн Петрович, отнеси-ка ты эти картины, обе, не ко мне, а к графу Ивану Ивановичу Шувалову. Чтоб завтра к вечеру они у него были. Знаете дом графа?

У Мюллера перехватило дух от такой удачи.

– Знаю, – он хищно блеснул линзами очков. – Так вы для их сиятельства картины торговали?

– Одну себе, другую ему. Но пусть их сиятельство сам выберет. А теперь, Анна, расскажите, что вам понравилось в России?

Болезнь императрицы

Болезнь государыни означает, что может наступить перелом во всем государстве, оттого-то и нельзя болеть Елизавете Петровне. Но... человек предполагает, а Бог располагает.

Еще в прошлом году лейб-медик Канониди нашел на полу платок государыни и понял, что она харкает кровью. Естественно, он ни слова не сказал Их Величеству, зачем пугать ее загодя. Однако тщательный осмотр организма – а он осматривал ее по несколько раз в день – дал возможность отвести саму мысль о чахотке. Здесь было другое. Одышка, потливость, ноги отекали так, что не лезли ни в одни туфли. Теперь даже для торжественных приемов государыня облачалась в мягкие тапочки без задников и каблуков. Раз в месяц Елизавете мучили странные конвульсии, когда она теряла сознание, а очнувшись, никого не узнавала. Собрали консилиум, после которого лейб-медик вкупе с хирургом Буассонье выдали письменное заключение: «По мере удаления от молодости, жидкости в организме становятся более густыми и медленными в своей циркуляции, особенно потому, что имеют цинготный характер».

Государыня потребовала заключение, долго приспосабливала очки, потом также долго читала и, наконец, уставилась на медиков тяжелым, водянистым взглядом.

– Греки называют это klimax, то есть лестница, – прошептал испуганно Канониди.

– Климактерий – название вашей болезни, – подтвердил Буассонье.

– Глупости! Какой еще климактерий? – спокойно сказала Елизавета. – Я женщина и ей останусь. Девки, одеваться! – голос ее прозвучал настолько громко, звонко, что медики переглянулись в нерешительности. На лице Елизаветы зацвел

румянец. Казалось, что царственная пациентка сейчас вскочит на ноги, хлопнет в ладоши и от болезни не останется и следа. Однако, когда принесли платье-робу с драгоценной бахромой, кружевами, с тяжелым, золотым шитьем по лифу и подолу, она, словно прикинув глазом его вес, раздумала одеваться и махнула рукой.

– Потом. Пока полежу. Дай-ка мантилью с лисицами.

Елизавете было сорок восемь лет. Она понимала, что в словах медиков есть правда. Годы берут свое. И надо сознаться, что тратила она себя в жизни без устали, ни в чем не зная удержу, ни в еде, ни в плясках, ни в любви.

Но причина ее болезни другая, медикам не объяснишь. За неделю до того, как выплюнула она на платок кровь (дурак лекарь до сих пор думает, что она этого не поняла) приключилась во дворце странная история.

После обеда государыня решила поспать. Но идти в душную спальню не хотелось, и она велела постелить себе на канапе у высокого окна – из него открывался чудный вид на Нижний Петергофский парк и залив. Горничные постелили матрасы, взбили подушки и удалились. В сумерках государыня очнулась вдруг от озноба и легкой боли внизу живота, тянуло как-то. Но сон был сладок, и, пытаясь сберечь его в закрытых глазах, она негромко крикнула горничную, прося принести мантилью. Любимую, голубого цвета мантилью государыни знали все, но на этот раз ее никак не могли найти.

От нерасторопности камеристок сон прошел, низ живота опять начал ныть. Раздраженная и мрачная Елизавета сидела на канапе, молча выслушивая бестолковые оправдания.

– Гардеробную всю перерыли, – рапортовала в дверях первая горничная и тут же исчезла, наглядно демонстрируя свою прыть во исполнение царского приказа.

– В опочивальне, Ваше Величество, тоже нет! Ахти, какая пропажа, – шептала другая.

Наконец явилась Мавра Егоровна и, басовито ворча, направилась прямо к канапе.

– Нигде нет, матушка-голубушка. И не попала ли мантилья меж матрасами? Девки такие бестолковые, все бегом, все в небрежении!

Она подошла к канапе, запустила руку под подушку, потом стала шарить между матрасами.

– И тут нет. А это что такое? Корни какие-то...

Рука Мавры Егоровны нащупала странный предмет, жесткий, неприятный на вид. Елизавета с ужасом смотрела на эту находку.

Принесли свечи. Это и в самом деле был пучок каких-то кореньев, плотно оплетенных волосами. Вид этих корешков был столь жуток, что государыня схватилась от боли за живот и икнула. У всех словно уста запечатало от страха. Государыня первой произнесла слово – «колдовство», а потом уж все загалдели. «Чары! Кто положил? Кто входил в комнату? А волосы-то с рыжинкой!»

По этой рыжине и нашли виновницу. Ей оказалась любимица Елизаветы Анна Дмитриевна Домашева. В тот же вечер она была арестована и препровождена в Тайную канцелярию. На первом же допросе она показала, что прибегнуть к чарам ее толкнула только любовь к государыне, де, она боялась утратить царское внимание, поэтому мало того, что положила под матрас коренья, так еще давала государыне по крупинке четверговой соли в каждый бокал венгерского.

– Кто тебя научил? – спросили Анну Дмитриевну.

– Никто. Сама. Книжку читала. В рядах купила. Там все способы чародейства описаны.

– А почему ты решила, что государыня лишит тебя любви своей? Кто тому причиной?

– Мавра Егоровна меня не любит и чернит перед государыней... козни строит.

Последнего ответа уж никак не следовало давать бедной женщине. Ввиду важности проступка допрос вел сам Александр Шувалов. Бросить ему в лицо,

что золовка вынудила арестованную прибегнуть к такой чудовищной мере!

Ответ про Мавру Егоровну был скрыт от государыни, и только через год Иван Иванович Шувалов отважился заступиться за несчастную колдунью, которая все еще сидела в тюрьме на воде и хлебе.

– Братья мои козни строили, – сказал Иван Иванович, как о деле обычном.

Елизавета была добрым человеком и, конечно, разжалобилась бы, кабы не укоренились в животе боли, а ведь этим местом она и лежала на проклятых корнях.

– Она мне яд подсыпала, – ответила Елизавета фавориту.

– Душа моя, четверговая соль[8 - Четверговая соль – это соль, пережженная с квасной гущей в великий четверг, с ней едят на Пасху яйца.] не может повредить...

Государыня так и не отдала приказа на освобождение Анны Дмитриевны, но не стала возражать против ее ссылки. И странное дело, голубая мантилья сыскалась потом в покоях великой княгини, куда Елизавета заходила накануне. Виновницу волнений – мантилью – подарили кому-то из горничных, любимой теперь стала другая, из тонкого алого сукна, подбитого чернобурками. Но память прочно удержала – вся кутерьма началась с визита к Екатерине, великая княгиня как бы косвенно была виновата в том, что свершилось чародейство.

«Потому что если б оно не свершилось, то и болезни бы не было, – думала Елизавета. – Ведь и раньше наверняка колдовали – и ничего, жила – не тужила! А не была ли в сговоре великая княгиня с этой самой Домашевой? Нет, не может быть...»

Болезнь совершенно изменила характер Елизаветы, она стала подозрительна, вспыльчива. Государственные дела ее и раньше мало интересовали, но, помня и во сне, что ей судьбой доверена Россия, она несла скипетр, как крест. Теперь обессиленна, крест можно в угол поставить, пусть постоит, подождет своего часа.

Но одна государственная забота терзала ее постоянно: к кому перейдет трон. Петрушка мало того что недоумок, так еще и в рюмку смотрит. Катька – стерва хитрющая. Сын их Павлуша – зорька ясная, еще дитя, три года мальчику. Она должна жить, чтобы успел он вырасти и из ее рук принял царский скипетр. Но об этом пока молчок, эти мысли только Богу и Ивану Шувалову можно доверить.

А здесь еще война... «Жить надо экономя силы, – говорила себе Елизавета. – Во главе армии стоит Апраксин, воин не больших дарований, да больше поставить некого. Одни немцы... А хочется, чтобы в справедливой войне с супостатом Фридрихом во главе русской армии стоял русский генерал».

Когда перед отправлением в армию Апраксин пришел во дворец за царским благословением и напутствием, Елизавета чувствовала себя почти хорошо. Видно, дал Господь силы, чтобы выказать пред фельдмаршалом здоровый дух самого государства.

– А что, Степан Федорович, не поехать ли мне вместе с тобой в Ригу, чтоб встать во главе армии, а?

– Как изволите, Ваше Величество, – подыгрывал Апраксин, кокетливо и самодовольно улыбаясь.

– А что? – продолжала Елизавета. – Отчего ж не могу? Если батюшка мог участвовать в баталиях морских и сухопутных, то я, дочь его, тоже могу повести моих солдат к победе... – и хохотала звонко, оглядывая приближенных орлиным оком.

Только близкие люди могли угадать в словах ее грусть и насмешку над собой, немощной. А на следующий день Катька-негодница проиграла всю сцену перед своими фрейлинами, проиграла зло, насмешливо, уверяя всех и каждого, что Елизавета и впрямь верит, что может воевать не хуже отца своего Петра Великого. Об этой сцене тут же донесли императрице, красок в описании не пожалели.

– Ду-ра! Дрянь! – крикнула Елизавета и хотела немедленно, сей же час, посчитаться с великой княгиней. – Позвать ее сюда!

Но недаром говорят, бодливой корове Бог рогов не дает. Злость была, а силы не было.

– Не надо, не зовите, – приказала Елизавета, а сама подумала: «Я с тобой потом посчитаюсь».

Но как бы она себя ни чувствовала, не было дня, чтобы не молилась она Всевышнему о даровании победы русскому воинству. И дождалась... свершилось!

Известие о морском сражении и взятии Мемеля обрадовало ее чрезвычайно. Императрица недужит, а государство здорово, уж тебе, Фридрих Прусский. А тут весть о новой победе подоспела.

Панина императрица принимала в большой тронной зале при всех орденах и регалиях. В ней собрались все близкие ей люди, стояли, слушали, ликовали.

Доклад Панина был длинен. Он излагал ход Гросс-Егерсдорфской битвы подробно, красочно, похвалил изобретенные Петром Шуваловым секретные гаубицы (граф так и зарделся), описал, как билось насмерть правое русское крыло, левое крыло, особо упирал на великое мужество и храбрость генералитета во главе с фельдмаршалом Апраксиным.

Елизавета устала, слушала уже вполуха... неприятель потерял 18 полковых пушек, 3 гаубицы, пленными взято более 600 человек. Самое неприятное – наши потери – было оставлено Паниным на конец в надежде, что государыня притомится и не станет слушать заключительного скорбного слова. Так бы и случилось, если бы у Елизаветы достало сил остановить докладчика. Пот струился у нее по спине, под париком, по нарумяненным щекам. Она думала об одном, как бы не упасть в обморок.

– Особо отличился Нарвский и Второй гренадерский полки. Офицеры и солдаты показывали чудеса храбрости, – Панин стал перечислять фамилии убитых господ офицеров, – а также полковник Репнинский. Уже сам раненный, он отбил пленного генерала Лопухина...

– Это какой же Репнинский? – перебила Елизавета.

– Из штабных. Недавно прибыл из Петербурга и погиб в первом же бою. Николай Репнинский был ранее полковником Белозерского полка, – несколько смешался Панин.

– Это из тех Репнинских, – негромко вставил Иван Иванович, – кои пошли от князя фельдмаршала Никиты Репнина. Брак его, как помните, был признан недействительным, но впоследствии дети – оба сына – получили свой герб и дозволение называться Репнинскими.

– Если у полковника Репнинского есть сыновья, то определите их сообразно возрасту в Пажеский или Кадетский корпус.

– У Репнинского есть дочь, – тихо подсказал Александр Шувалов, у него по должности была хорошая память.

– Тогда возьмите ее ко Двору и определите ко мне во фрейлины.

Это была милость, знак особого расположения к памяти героя. Панин хотел было описать самую блестящую картину боя, как сидящие в засаде именно Второй гренадерский и Нарвский полки прорвались через темный лес в самое нужное место и в самый нужный момент – не иначе сам Господь их вел! – вышли на помощь нашим, чем и обеспечили победу. Но Елизавета тяжело повела шеей, отерла платочком лицо, хотела сунуть его в сумку, но не смогла... Платок бессильно скатился по подолу государыни.

– Виват! – прошептала она одними губами.

Аудиенция была закончена.

Апраксин

Главная инструкция Конференции Апраксину: «...На всякое сумнительное, а особливо противу превосходящих сил сражение, сколько можно всегда избегаемо быть имеет», то есть Боже тебя избавь ввязываться в баталию. А Апраксин ввязался и противу всех правил – выиграл. Выиграл битву и пустил

все прахом, удивив не только Петербург, но и союзников, так называемую коалицию, а более всего самого Фридриха II. Речь идет о битве на берегах Прегеля под местечком Гросс-Егерсдорф.

После победы русские солдаты испытали необычайное возбуждение, у всех была одна мысль – догнать пруссаков, добить их и на этой волне успеха взять Кенигсберг. Но против всех ожиданий, против здравого смысла Апраксин, уже занявший половину Пруссии, повернул вдруг армию к Тильзиту, а потом и вовсе пошел к Неману для размещения солдат на зимние квартиры.

Ах, как зря, как необдуманно поступил фельдмаршал! Выиграли-то чудом. Пруссак боялись. Это была великолепно обученная, вышколенная, привыкшая к победам армия. Под Гросс-Егерсдорфом самого Фридриха II не было, но в битве принимали участие отборные полки под руководством генерала Левальда. В их задачу входило закрыть от русских путь на Кенигсберг, для чего они укрепились в городке Велау.

Пруссаки напали неожиданно во время перехода русской армии. Естественно, мы не успели перестроиться к бою. Диспозиции у русских никакой не было, да и не успели бы ее сочинить. Линия наших войск не могла вытянуться по всей длине из-за тесноты поля, зажато с двух сторон Егерсдорфским лесом, а еще того хуже – большая часть армии и артиллерии с боезапасами очутилась за непролазным лесом, через него и пеший не продерется, а конный, да еще с пушками...

Жаркая, страшная была битва, и мы непременно потерпели бы поражение, если бы не прорвались через лес два полка гренадер под командованием генерала Румянцева. Правда, ходили слухи, что никуда их Румянцев не вел, а наоборот, велел стоять на месте, потому что был получен приказ от Апраксина всенепременно сохранить резерв. Белов сам привез приказ фельдмаршала и уже возвращался в свой полк, когда услышал вдруг крики «ура!» – громоподобные, раскатистые, как лавина. Эти звуки и вынесли его из леса. Потом рассказывали, что солдаты сами, самочинно, услышав крики гибнувших товарищей, с небывалой стремительностью и жаром бросились через лес. Солдаты вступили с пруссаками в рукопашную. Белов повел их в самую гущу боя. Ежели русского человека завести, он смерти не боится, и это не один такой герой, не два, а весь полк, вся армия. Одним словом, пруссаки обратились в бегство, а русское командование не отдало приказа их преследовать.

Трудно описать, что делалось в нашей армии. Все ждали, что не сегодня, так завтра бросимся в погоню за неприятелем. Но не тут-то было. Два дня русская армия мылась, чистилась, хоронила мертвецов своих и чужих. Потом словно нехотя, с величайшим трудом поднялась, промаршировала пять верст в неведомом направлении и опять встала лагерем. Солдаты, ничего не понимая, шутили: «Если эдаким темпом идти, то до Кенигсберга раньше месяца не попадем...» Столица Пруссии была совсем рядом.

Скрывшиеся в Велау пруссаки только через неделю обнаружили отход русских, а обнаружив, очень удивились. Но если победители не преследуют побежденных, то надо меняться местами. Опомнившиеся пруссаки сели на хвост русской армии и стали донимать ее мелкими стычками, мешая отходу и переправе через реки, при этом они нападали на обозы, грабили провиант, то есть вели почти партизанскую войну.

Чем же объяснял Апраксин свое странное поведение? Очень просто и, по его мнению, весьма убедительно: в армии 15 000 раненых и больных, кони перебиты, фуража нет, с провиантом затруднение, а подвоз его труден. Посему доблестный фельдмаршал сообщил в Конференцию и Иностранную коллегию, что «за благо взял» сохранить армию, не подвергая ее голоду в разоренной собственной армии Пруссии, а поворотить поближе к магазинам, расположенным на берегах Немана. Правда, русские офицеры, да и солдаты, считали, что продовольствия в Велау более чем достаточно, а в Кенигсберге и того больше, но Апраксин предпочитал об этом не думать. Душа его болела за армию. Как летом мучили солдат «великие жары, коих в здешнем климате примера не бывало» (словно речь идет не о Литве, а о Сахаре!), так и теперь полки вынуждены были претерпевать «страшные непогоды и великие холода», которые попросту называются проливным дождем. Что же, фельдмаршала можно понять. Но уже двести лет спорят военные историки, впрямь ли за армию болела душа у фельдмаршала или ныла от страха, что не угодил он своей победой «молодому Двору» и будущему императору Российскому Петру Федоровичу.

Апраксину было пятьдесят шесть лет. Это был вельможа в истинном понимании этого слова. Когда после битвы генералу Кейту доложили, что под русским фельдмаршалом ранена лошадь, тот невозмутимо заметил: «Шпорами, конечно... Иначе лошадь не побежит с поля боя». Говорили, что в баталии при Гросс-Егерсдорфе Апраксин совсем потерял голову от страха и давал распоряжения одно нелепее другого[9 - Однако некоторые наши историки,

например Д. М. Масловский, защищают фельдмаршала, как говорится, с пером в руке, просчитывая каждый его шаг.].

Он был статен, несколько полноват, по-своему красив. Выпуклые карие глаза его смотрели приветливо, прямой, несколько длинноватый нос, правильной формы? надбровные дуги, про брови говорили, что он их мажет специальной сажей... сплетничали, конечно, они у него от природы были черны. Его девиз на войне – «воевать не для крови, но для устрашения, и воевать с удобствами». Себе и окружающим его лицам он объяснял это так: в походе фельдмаршал должен жить в привычном для него ритме, в привычной обстановке, а это значит и постель иметь пуховую, и еду в сорок блюд, и есть не на чем попадая, а на серебряном сервизе, который пожаловала ему государыня. В противном случае от неудобств настроение у фельдмаршала будет плохое, в ипохондрию впадет, а с ипохондрией кто ж выиграет войну? Как врага иметь? Говорилось это как бы в шутку, с улыбкой, но доля правды в этой шутке была столь велика, что до чужих ушей, например, вражеских, прусских или французских, состоявших с нами в союзниках, эта шутка доходила как голая правда.

Вернемся в Пруссию, в холодный дождливый август, самый его конец... Вечер. Высокий крутой берег реки Ааль, костер, дождь не слишком сильный, но изнурительный, когда уже и шляпа, и камзол, и плащ давно стали тяжелыми, словно набухли от влаги. Внизу на той стороне реки виден лагерь пруссаков, там тоже жгут костры, готовят пищу и, видно, совсем не ждут нападения русских. Перед лагерем пруссаков, чуть левее, находится деревушка Бергердорф, справа за излучиной реки верстах в четырех, не более, раскинулся невидимый сверху городок Велау.

Завтра с этого берега русская артиллерия из двенадцатифунтовых пушек сожжет деревню Бергердорф, в чем, к слову сказать, совсем не будет необходимости. Но пока деревушка светится огнями и ими любитесь сидящий у костра Белов. Он очутился у артиллеристов совершенно случайно. Ездил в штаб по делам, там запозднился, повздорив с неким генералом Зобиным, известным в армии хамом. Ему очень не хотелось плутать в лесу ночью в поисках своего полка. Он решил заночевать на полпути.

Слово «повздорил» Александр придумал себе в утешенье, а на самом деле он стоял перед Зобиным навтыжку и кусал от злости губы, а тот костерил его то ли за неполадки с подвозом фуража, то ли за пришедшие в полную негодность солдатские сапоги, словом, за то, к чему Белов не имел никакого

отношения. В армии это бывает, и снес бы Александр несправедливые обвинения, если бы не безобразный, недопустимый тон. После особо крепкого выражения (не будем приводить его здесь, но поверьте – мрак!) Белов отступил назад и совсем не по-уставному крикнул:

– А вот это, ваше сиятельство, уже лишнее! За это... – Белов хотел сказать, что, мол, можно по морде схлопотать, но подыскивал более мягкое выражение.

Он так и не кончил свою мысль. Генерал побагровел, гаркнул: «Молчать!» – и вышел, хлопнув дверью.

Радужные артиллеристы позвали Белова ужинать. Но только он успел расположиться попробовать баранину с картофелем – нового, но уже заслужившего одобрение овоща, – как появился ординарец Апраксина с приказом немедленно прибыть к фельдмаршалу.

– Как вы меня нашли? – удивился Белов.

– Искал, вот и нашел, – хмуро ответил ординарец. – И поторопитесь, ротмистр...

Белов вскочил на коня. Менее чем через полчаса он был у Апраксина. Шатер фельдмаршала был просторен, уютен, на полу ворсистые ковры, на длинном, крытом парчовой скатертью столе зажженные шандалы, прибор на одного человека и огромное блюдо с чем-то мясным, остро пахнувшим, то есть восхитительно пахнувшим!

Белов представился по форме, зачем-то сказал про артиллеристов, мол, не доскакал до своего полка. Апраксин, сидя в кресле, не перебивал его, дослушал до конца, потом как-то совсем по-домашнему, без соблюдения субординации, сказал, указывая на прибор:

– Поешь...

Белов вытянулся в струнку, ранее ничего не предвещало таких свойских отношений с фельдмаршалом. И почему на «ты»? Что за амикошонство, в самом деле? Ничего этого он, естественно, не сказал фельдмаршалу, а, строго глядя перед собой, бросил:

– Я сыт, ваше высокопревосходительство. Благодарю.

– Ну так выпей, – почти кротко сказал Апраксин и вздохнул. – На улицах-то вона какая пакость. И сеет, и сеет... Судя по моей подагре, этому дождю еще долго литься. Садись... – он поворотился вместе с креслом к столу, потом собственноручно налил Белову вина. – Венгерское, токай, из Польшы привезли. В Пруссии с вином плохо, видно, сами все выпивают.

Белов сел, придвинул стул, выпил вина, положил на тарелку изрядный кусок мяса – похоже на оленину. Дают – надо есть, приказал он себе, простив фельдмаршалу его фамильярность.

Тихо, только потрескивают угли в жаровне да стучит по ткани шатра дождь. Александр в полном молчании съел полкуска мяса и выпил бутылку вина – чего жеманиться, если за тобой сам фельдмаршал ухаживает, – как вдруг Апраксин тихо сказал:

– Поскачешь в Петербург с депешами.

Белов вскочил.

– Утром?

– Сейчас. Ты сиди пока, доедай. Одну депешу отвезешь в Иностранную коллегию, другую в Конференцию. Передашь в собственные руки Голицыну Михайле Михайловичу или Трубецкому Никите Юрьевичу. Впрочем, можно и Бутурлину Александру Борисовичу.

«Всех назвал, только Бестужева запомнил, – подумал Александр. – Хотел бы я знать, отчего такая спешка? Может, завтра, дай Бог, наступление?»

– Ты можешь спросить у меня, отчего такая спешка? – продолжал Апраксин. – А оттого, что указаний не имею. Главная твоя задача отвезти в Петербург вот это, – он взял со стола письмо в длинном, желтом конверте. – Отвезешь его тайно и отдашь лично в руки Бестужева. Ты меня понял, Белов?

– Да уж как не понять, – быстро сказал Александр, позволив себе отступление от устава ввиду необычности просьбы. – Какие будут дальнейшие распоряжения? Вернуться в армию?

– Дальнейшие распоряжения тебе будет давать канцлер. Алексей Петрович в свое время указал мне на тебя, как на человека верного и способного исполнить деликатное поручение. Дешеш получишь от моего адъютанта, а письмо – спрячь. Да понадежнее... В сапог, или в подкладку какую, или в шляпу...

– Я спрячу, – строго сказал Александр, опять слышав в голосе фельдмаршала оскорбительные нотки, таким тоном говорят с собственными брадобреями или поварами, но никак не с подчиненными.

– Возьми с собой пару людей из охраны. Мы пока на территории Пруссии, а враг коварен...

«Враг-то коварен, да мы идиоты!.. – подумал с раздражением Белов, пряча письмо в карман. – А может, не идиоты... Может, того хуже – отступаем, потому что измена!»

– Если что, дешеш сжечь, – продолжал фельдмаршал. – Письмо это тоже сжечь, но только в самом крайнем случае.

Белов встал, Апраксин тоже неловко вылез из кресла, подошел к Александру близко, обнял его за плечи, посмотрел в глаза. От фельдмаршала пахло дорогим вином и пряной подливой.

– Будет спрашивать о чем-либо Алексей Петрович, отвечайте все без утайки, – сказал он, вдруг переходя на «вы», словно высмотрел в глубине Сашиных зрачков что-то требующее уважения. – Идите, – он слегка подтолкнул Белова к выходу.

Екатерина и Понятовский

Понятовский вернулся в Петербург в конце пятьдесят шестого года, как раз под Рождество. Радости великой княгини Екатерины не было предела. В некотором смысле появление Понятовского было неожиданностью. Может, уже и до государыни дошли слухи о связи Екатерины с красивым поляком. Во всяком случае, при дворе велась серьезная интрига, дабы избежать появления Понятовского в Петербурге. Английский посол Вильямс, который всегда все знал, передал Екатерине, что во главе интриги стоит сам Бестужев. Последнему сообщению она немало удивилась, но не успела даже осмыслить его во всех подробностях. Приехал милый друг, и слава Богу!

Зима прошла как обычно: балы, маскарады, концерты, фейерверки. Кроме того, при большом и малом дворах образовались свои маленькие компании – кружки, как называла их Екатерина. У великого князя Петра Федоровича тоже был свой кружок, и часто обе компании собирались в одном доме, только в разных его комнатах, скажем, у Кирилла Григорьевича Разумовского, веселились, пили, танцевали, играли в карты, не подозревая о присутствии в доме еще кого-то, помимо хозяев. А хозяйева потирали руки – так славно, что они и с Екатериной в хороших отношениях, и с Петром их не испортили!

Несколько омрачала настроение молодежи затеянная некстати война. У каждого в армии был кто-то близкий, а сражения не обходятся без смертей. Об этом старались не думать. Все зыбко в мире, зыбко и при Дворе. Братья Шуваловы мутят воду, государыня всегда больна – то пропустила итальянскую оперу, то на балу не появилась, а ждали, заранее уведомив о ее посещении. Время грядущих перемен – тяжелое время, поэтому все как с цепи сорвались, топя в вине беспокойство и дурные предчувствия.

В начале мая Екатерину ждали две неприятности: первая – обязательный отъезд в Ораниенбаум, а там видеться с Понятовским очень затруднительно, и вторая – серьезное опасение, что она беременна.

Первенцу Павлуше два года, он живет заласканный в покоях государыни. Его забрали у матери сразу, как он появился на свет. Екатерина тяжело перенесла роды, как физически, так и морально. На всю жизнь запомнила она картину: все стоят возле ее родильной постели. Радостная Елизавета держит младенца, духовник нарекает его Павлом, суетится возбужденная Мавра Егоровна Шувалова, Петр стоит подбоченясь – он выполнил возложенную на него задачу. А потом все разом исчезли, забыв о главной виновнице торжества. Петербург ликовал по поводу рождения наследника, взвивались

в осеннее небо огни фейерверков, все пили без пробуду, а Екатерина лежала в полном одиночестве, изнемогая от жажды и болей в пояснице.

Сына она увидела только на сороковой день. Маленькое кареглазое существо лежало в колыбели, обитой чернобурками, и потело под стеганым атласным одеялом. В комнате топили так, что стесняло дыхание. Екатерина смотрела на маленькие ручки с крохотными ноготками, на чмокающий рот, замшевые, словно смятые щечки. Нет, нежности к этому комочку плоти не появилось.

Ясно, что второго ребенка ждет та же участь. А может быть, материнские чувства вообще были чужды юной Екатерине? Не стоит в этом винить ее, этикет Двора не дал развиваться этим чувствам. Много лет спустя, став бабушкой, она наверстала то, чего лишена была в молодости. Внукам она уделяла много часов, играя и возясь с ними. Но это все потом, а сейчас она воспринимала беременность как досадную помеху.

Но, может быть, врачи ошиблись? В прошлом году они поставили тот же диагноз, навязали ей строгий режим дня, следили за каждым ее шагом, а потом выяснилось, что беременность мнимая.

Она все сделала, чтобы не брать с собой в Ораниенбаум хирурга Гюйона, он стар, докучлив. У великого князя были свои заботы. Государыня доверила ему руководство Сухопутным кадетским корпусом. Теперь в парке расположилась лагерь сотня кадет. Их высочество, пьяный от счастья, немедленно затеял в своей крепости показательную баталию.

Екатерина была предоставлена сама себе. Вместе с кадетами в Ораниенбаум приехал один из лучших берейторов того времени – голштинiec Циммерман. Конные прогулки замечательная вещь – они помогут ей лишний раз встретиться с Понятовским. Дабы не ссориться по пустякам с мужем, великая княгиня начала с того, что робко попросила у мужа разрешения брать у Циммермана уроки верховой езды.

– Ах ты, Господи! Делай что хочешь! – бросил Петр Федорович на ходу и тут же стал выстраивать кадет в каре для повторения штурма крепости.

Вот ведь насмешка судьбы: у Петра Алексеевича были потешные войска, о них всегда говорят с гордостью и уважением. На основе мальчишеских игр выросли

Преображенский и Семеновский гвардейские полки. У внука Петра Федоровича та же страсть, те же потешные войска, и все считают это за безделицу, раздражаются, словно взрослый человек играет в куклы.

«Чем бы дитя ни тешилось...» – думала Екатерина. Манеж оборудовали на большой поляне, рядом с катальной горкой. В шесть часов утра великая княгиня уже сидела в мужском седле. На ней были кюлоты, сюртук, сапоги со шпорами, издали нельзя было признать в ней женщину.

Урок продолжался до десяти часов утра, а дальше Екатерина совершала конные прогулки в сопровождении одной камер-фрау – Екатерины Ивановны, весьма преданной ей дамы. Она же нашла способ передать в столицу записку для Понятовского. С этого и начались их почти каждодневные встречи.

– Как хороши вы в мужском костюме, душа моя, – шептал прекрасный поляк. – Мой юный паж...

Лошади летели...

– Любовь к пажам наказуема, – смеялась Екатерина. – А может быть, вам надеть женское платье? Тогда я не боялась бы доносов, которые отравляют мне жизнь.

– О, нет! Я не умею ездить в женском седле.

– И все-таки постарайтесь как-нибудь изменить внешность. Право, вас можно узнать за версту.

Вот и дуб, верный страж их свиданий. В узловатых корнях его цветут бледные, сладко пахнувшие фиалки и тонкие стебельки гусяного лука. Дуб стоит на высоком морском берегу, северная сторона его закрыта плотным подлеском. Здесь мягкая трава, а камни в изголовье поросли мхом...

На следующую встречу Понятовский явился в плаще до пят, который совершенно скрывал фигуру, и в белом парике с толстыми буклями на висках и красной муаровой лентой в косице. Увидев его белый парик, Екатерина покатила со смеху.

– Вы сошли с ума! Ваш парик виден за версту! Из чего он сделан? Живые волосы не могут иметь такого цвета! Ваш парик отливает голубым...

Понятовский ничуть не смутился, он просто сорвал парик с головы с намерением бросить его в кусты, но Екатерина его остановила:

– Я не могу быть столь жестокой. Он вам так идет! Вы в нем сказочно... сказочно хороши!

Дальше последовали поцелуи. Белый парик Понятовского и правда был замечен. Но слуги привыкли молчать и не беспокоить без нужды великого князя. Неизвестно, что получишь за правдивое донесение – деньги или подзатыльник.

Через две недели учебы восхищенный успехами Екатерины Циммерман преподнес ученице серебряные шпоры. Прежде чем надеть их на царственные ноги, берейтор поцеловал запыленный сапог.

– Никогда в жизни, ваше высочество, у меня не было таких учеников! Такая прилежность! Такое понимание! И такая честь для меня!.. – в глазах Циммермана стояли слезы, и это не было притворством, слуги очень часто любят господ до самозабвения.

Екатерина рассмеялась, легко прыгнула на землю и тут же привалилась к крупу лошади, почувствовав острую боль в пояснице. Видимо, она сильно побледнела, потому что Циммерман вытаращил от ужаса глаза.

– Лекаря!

Она не дала себя осматривать хирургам великого князя, дождалась приезда Гюйона. Диагноз был подтвержден. Перепуганный старик ломал руки до треска в суставах.

– Ах, ваше высочество, как неосмотрительно! Что скажет Ее Императорское Величество?

– Если вы будете молчать, государыня ничего не узнает, – строго сказала Екатерина.

Она лежала на канаве, закутанная в плед. Острая боль в пояснице сменилась тянущей и противной. «Выкидыш – ну и пусть, – думала она равнодушно. – Наследника я родила, у меня нет больше долгов перед Россией».

Но на следующее утро боль прекратилась, а к обеду из Петербурга пришла депеша. Великой княгине и великому князю надлежало немедленно прибыть в столицу.

Трясаясь в карете, Екатерина с раздражением размышляла о том, что послужило внезапному вызову. Ясно, что государыне донесли о неблаговидном поступке невестки. Но что вменялось в вину? Занятие верховой ездой или тайные свидания? А может, ни то, ни другое, а поведение беспутного мужа? После военных экзерциций он так возбуждался, что каждый вечер заканчивался грандиозной попойкой. Кроме свиты на этих сборищах присутствовали фрейлина Теплова, к которой великий князь сейчас благоволил, егеря, лакеи, какие-то голштинцы, которые только что привезли привет с родины, – сущий сброд, а также итальянская опера. Неоднократно наезжала немецкая певичка Леонора. Она была глупа, страшна, но, как уверяли, имела чудесное контральто. Сильный и свежий голос ее звучал под низким, ночным небом Ораниенбаума. Екатерина не могла оценить ее певческих достоинств, потому что воспринимала любую музыку, даже самую гармоническую, как какофонию, проще говоря – шум. Но она не считала это недостатком.

Выяснить причину их внезапного вызова так и не удалось. Государыня была больна и никого не принимала. Она поселилась в Летнем дворце, куда незамедлительно явился Шувалов.

– С благополучным прибытием... – страшно помаргивая правым глазом, этот страж порядка сел на стул и молча уставился на великую княгиню.

– Благодарю вас, Александр Иванович.

Это была идея Бестужева: совместить две должности в одном лице – главы Тайной канцелярии и обер-гофмаршала молодого Двора. Когда-то эта идея казалась остроумной, сейчас это совмещение мешало Бестужеву.

Голос Екатерины был сама любезность, но глаза смотрели вбок. «Боже мой, мне нельзя видеть это чудовище! А вдруг у моего будущего сына будет такой же

тик? Ведь говорят, на кого посмотришь, у того и переймешь. Для мальчика это еще куда ни шло, был бы умен. А если девочка?» Неожиданно для себя Екатерина прыснула и зажала рот рукой.

– Вы что-то хотели сказать, ваше высочество?

– Дождь так утомителен... – вздохнула Екатерина.

– Но дождя нет.

– Нет, так будет. В Петербурге всегда дождь. Да вон и тучи.

«Поговорили, – думала Екатерина. – О чем его спросить? Как здоровье государыни? Это категорически нельзя! Для всех она здорова. О сыне? В этом Шувалов может усмотреть недоверие к мамкам и нянькам, которые приставлены к Павлуше самой государыней. Можно спросить о делах политических, но это полная глупость. Ни в коем случае нельзя в них вмешиваться! Обвинят в своеволии, излишнем любопытстве, а то и в государственной измене. Можно поинтересоваться, как идет работа в Тайной канцелярии, но уж этого ей совсем не хочется знать. Бр-р-р!»

Следующий вопрос Шувалова несказанно удивил Екатерину.

– Простите, ваше высочество... А что Цейц? Он по-прежнему дает вам бумаги на подпись?

Цейц был секретарем великого князя по делам Голштинии. Скучный и педантичный немец, он привык относиться к делам аккуратно, и не стоило большого труда заставить Петра Федоровича поставить на бумагах хоть одну свою подпись.

– Вы ошибаетесь, Александр Иванович. Я никогда не подписываю государственных бумаг, – Екатерина смотрела Шувалову прямо в глаза, забыв о его тике, теперь ей надо было понять, куда он клонит.

– Нам известно, что вы не подписываете сами, вы только даете их высочеству советы, что подписывать в утвердительном смысле, а что не подписывать вовсе.

«Уже донесли... Но кто? Кроме Цейца и великого князя, в комнате никого не было!» – пронеслось в голове Екатерины.

– Поверьте, я даю великому князю только полезные советы, – она улыбнулась, придав лицу слегка кокетливый вид. – И то, если он меня об этом попросит. Давеча, на прошлой неделе, случилось так... – Екатерина перевела дух и заговорила быстро и звонко: – Ко мне зашел их высочество. За ним бежал Цейц с папкой, в ней был ворох бумаг. «Умоляю, только “да” или “нет”, – просил он великого князя. – Здесь работы на полчаса». Великий князь смиротворился, все подписал. Иногда, правда, он задавал мне вопросы... Я не могла на них не отвечать. Это было бы невежливо.

Шувалов слушал ее настороженно, даже моргать перестал, рубец на щеке покраснел от прилива крови.

В действительности все было так и не так. Петр был пьян и отмахивался от Цейца, как от назойливой осы: «Нет, вы посмотрите на этого черта! Он преследует меня с этими “да” или “нет” целый день! Не могу, голова болит! – рявкнул он секретарю. – Может, моя умная жена вам поможет?»

Конечно, Екатерина помогла, а на следующий день Цейц опять явился к ней с ворохом бумаг.

– И еще один вопрос, простите, ваше высочество. Как часто в делах голштинских... – он чуть помедлил, словно хотел добавить – и не только в голштинских, но не добавил, – вы пользуетесь содействиями канцлера Бестужева.

– Бестужева? – Екатерина изумленно вскинула брови. – Никогда. А разве нельзя? – спросила она быстро.

– Представьте их высочеству самому решать дела Голштинии. Если ему понадобятся советники, он всегда найдет их в лице государыни, – сказал Шувалов, вставая.

У двери он отвесил низкий поклон и удалился.

Нет, это возмутительно! Екатерина топнула ногой. Шуваловы – это чума! Неожиданно для себя она залилась слезами. Плакать было сладко, тем более что она успокаивала себя: я плачу не от обиды на этого глупого индюка, на него нельзя обижаться, а потому, что я нервна из-за моего состояния.

Но все-таки страшно ощущать на себе дыхание Тайной канцелярии! Не будем об этом... Будем думать о хорошем. Завтра итальянская комедия, там будет весь ее кружок. Потом поедem к Левушке Нарышкину или к его сестре. Как станет весело! И там, конечно, будет он, свет очей, Станислав Август Понятовский.

Посол английский Вильямс

Сюжет мчится вперед, а автор никак не может набрать темпа. Композиция – очень сложная дисциплина и в живописи, и в музыке, и тем более в прозе. И то сказать – сюжета-то пока не просматривается... Автор, как на театре, торопится представить поочередно действующих лиц драматического действия, но сами собой появляются все новые герои и не ждут с достоинством своего чередa, а лезут нахально вперед, требуя к себе внимания.

Я хотела написать о Понятовском как бы между прочим. В этом романе он герой не третьего, а десятого плана. Сейчас не до него, и думалось, потом будет место и время рассказать о нем подробнее. Однако фраза «вернулся в Петербург» (а именно с нее была начата предыдущая глава) требует немедленного пояснения.

Итак, граф Станислав Август Понятовский появился в первый раз в Петербурге летом 1755 года. Тогда он находился на службе Великобритании и потому приехал как кавалер посольства английского посла Вильямса. Служба Понятовского была необременительна, она состояла главным образом в том, чтобы увеличить и украсить собой состав посольства. Он был молод, красив, европейски образован, принадлежал к самой богатой и знатной фамилии в Варшаве.

Посол сэр Чарльз Вильямс, человек незаурядный, относился к Понятовскому очень благосклонно и радел о его карьере. Но еще больше радел посол о пользе своего отечества. Поэтому, когда он заметил благосклонность великой княгини

Екатерины к молодому поляку, он всячески способствовал их дружбе[10 - В менее изысканных кругах это называется сводничеством.].

Дружба вскоре переросла в любовь самую пылкую. Екатерине было двадцать пять лет. Она была хороша собой, полна сил, которых совершенно некуда было девать, одинока и несчастна. До этого у нее был непродолжительный и пылкий роман с Сергеем Салтыковым, но он не оправдал надежд молодой женщины. Он не был достаточно верен, предан, порядочен, он, попросту говоря, ее бросил.

Оправдывая несколько вольное поведение Екатерины в этот период (про другой мы не говорим), историки-биографы с непритворной печалью пишут, как тяжела была ее участь все эти годы. Непосильное бремя легло на ее хрупкие плечи: муж-дурак с точки зрения физической вряд ли мог полноценно исполнять супружеские обязанности, государыня была далека, как солнце, и так же, как солнце, равнодушна и безучастна к жене наследника. Екатерину окружали только вздорные и глупые люди, лишь книги были ее истинными друзьями.

Но почитайте многочисленные дневники Екатерины, и вы увидите, что эта достойная сочувствия картина нарисована ее собственной умной и бестрепетной рукой. Она сама придумала, как ее надо жалеть и за что, совершенно, однако, уверенная, что достойна никак не жалости, а только восторга и поклонения.

Роман с Понятовским продолжался год и прервался неожиданно – молодой поляк должен был уехать в Варшаву. Политические дела в Польше были чрезвычайно сложными. Семья настаивала, чтобы граф Станислав Понятовский участвовал в сейме. Кроме того, родные считали, что он должен появиться в России польским посланником.

После отъезда Понятовского Екатерина и сэр Вильямс очень сблизились. Отношения их носили в основном эпистолярный характер: между ними завязалась активная переписка. Вначале Екатерина писала английскому послу, чтобы поговорить с кем-то о любимом человеке (Вильямс считал себя другом Понятовского). Послу хватило ума и такта отвечать в этих письмах так, чтобы великой княгине хотелось продолжать переписку. Постепенно характер писем менялся. Образ очаровательного поляка постепенно стусевывался в их письмах, разговор вели уже два политика. Они писали о войне и мире, о науке государственного управления и ее подводных камнях, о ныне здравствующей императрице, о настоящем и будущем.

Сэр Вильямс появился в России в ту пору, когда Англия была верной и испытанной союзницей России, поэтому посол стал очень скоро близким другом Бестужева (насколько могут дружить посол и канцлер двух великих держав). Платформой для этой дружбы служила глубокая и взаимная неприязнь к Франции.

Резкая перемена политических связей в Европе произошла в 1756 году. Я рискну повториться в уверенности, что неподготовленному читателю повторение только на пользу, а «подготовленных» по Семилетней войне очень мало, это вам не 1812 год. Напомню, что у Англии были свои виды на Ганновер, у Франции – на Силезию, Австрия боялась турков, Россия, вследствие некоторой безалаберности, свойственной женским ее правительницам, не боялась никого, но желала сохранить равновесие политических сил в Европе. При этом Елизавета не доверяла Фридриху II.

В отношении России у каждой страны были свои интересы. В задачу Франции входило склонить Россию на свою сторону, и она имела надежных проводников своей политики в лице вице-канцлера Воронцова, трех братьев Шуваловых и самой Елизаветы, которая в глубине души никогда не относилась к Франции враждебно.

В задачу Вильямса входило возобновить торговый трактат Россия – Англия, который истекал в 1757 году. Помимо подписания трактата английский посол должен был склонить Россию к поддержке Англии в предполагаемой войне с Францией. Собственно, война эта уже велась в колониях на Американском континенте.

Общими усилиями с Бестужевым Вильямсу удалось подписать некую конвенцию, по которой Россия будет помогать Англии в войне против Франции. Однако Англия, боясь неожиданных осложнений, тайно сообщила об этом Пруссии. Фридрих II поступил, как всегда, стремительно. Он, в свою очередь, подписал с Англией оборонительный союз. Франция немедленно ответила на это оборонительным союзом с Австрией. России оставалось только выбрать, к какому из этих союзов присоединиться. Она выбрала вторых, кстати, вопреки ожиданиям Фридриха II. Прусский король был уверен, что английское влияние в Петербурге сильнее австрийского, поскольку англичане больше дают.

Напрасно Вильямс объяснял Бестужеву, что договор Англии с Фридрихом II был направлен только против Парижа и ничем не угрожал России. Дело было уже

сделано. Елизавета не пожелала быть в одном союзе с Фридрихом II.

Можно сказать, что война была развязана из-за беспечности Англии и ее глубокого равнодушия к делам континентальных держав. Ей бы понастойчивей поинтересоваться, что хотят Австрия и Россия – войны или мира с Пруссией. О намерениях России депеши королю Георгу писал Вильямс. Он был вхож в лучшие дома Петербурга, нашел ключ к молодому Двору, наконец, он был другом канцлера. Составляя отчеты, Вильямс старался как мог, и я не согласна с замечаниями нашего уважаемого историка[11 - Соловьев С. М. «История России с древних времен».], что-де английский посол дал своему правительству «самое ложное понятие о Дворе Петербургском, внушая, что здесь все продается», что можно для пользы дела купить любого. Купить-то можно, и покупали, сам неподкупный Бестужев получал «пенсии» от английских министров, да и не он один. Так что ничего ложного здесь нет.

Но всяк сановник в Петербурге знал, шкурой чувствовал, когда его поведение соответствует главной линии государства и когда не соответствует, когда можно брать взятки (и это называется подарком) и когда нет (потому что это называется уже подкупом). Как только Англия заключила договор с Фридрихом II, Россия стала неподкупна.

Вильямсу было сорок восемь лет. Это был статный, хорошо сложенный (при дворе все важно), хорошо сохранившийся мужчина, воспитания, естественно, безукоризненного. Надо помнить, что у англичан понятие воспитания напрямую связано не только со знанием истории древних, умением вести себя за столом и говорить на иностранных языках, но и с такими «материями», как честь, достоинство и порядочность.

Направляя дипломатические депеши в Лондон, он, безусловно, был честен и в оценке русской политики, а если и сгущал краски, так это потому, что был он подвержен приступам черной меланхолии, которая со временем свела его в могилу. Во время этих приступов весь мир для него был раскрашен черно-белой краской без полутонов. Потом черная краска и вовсе стала преобладать, словно пороки вдруг обнажились, и уж чего-чего, а пороков в России предостаточно.

Положение у Вильямса стало критическим. Он понимал, что ввел в заблуждение своего короля, способствовал развязыванию войны, испортил отношения Англии и России и, что совсем ужасно, допустил примирение России с Парижем. Восемь

лет в Петербурге не было французского посла, а теперь он вот-вот появится. За такой послушной список он мог ожидать из Лондона одного – отзыва из России. С горечью вспоминал он незадачливого Шетарди, убеждаясь, что, сам того не ведая, повторил его ошибки. Неужели его карьере пришел конец?

Не может быть, чтобы все это было так безнадежно. История не идет по-писаному. У нее своя дорога. Робкой надеждой, освещающей путь, была у Вильямса болезнь Елизаветы. Кто ж мог предположить, что императрица будет так тяжело переносить свой женский возраст? А в этой нестарой еще женщине, как говорили, открываются все новые и новые хвори... Если она умрет, на престол взойдет Петр III, а это значит, что союз Англия – Пруссия – Россия становится реальностью. При таком раскладе его карьера была бы спасена.

Таковыми мыслями тешил себя Вильямс, сидя у камина в прохладный августовский вечер, когда секретарь принес небольшое, обычной почтой присланное письмо без обратного адреса. Оно было коротким. Некий господин, не называя себя, нагло назначил Вильямсу свидание на Аничковом мосту завтра в восемь вечера: «Пусть ваша карета на излете моста притормозит, вы правую дверцу отворите, а я подсяду как бы невзначай». Можно было бы посмеяться над бесцеремонным адресатом и бросить письмо в огонь, если бы не тайный гриф, а попросту говоря, пароль, которым это послание сопровождалось. Уже более года не получал Вильямс письма с подобным паролем.

На следующий день все произошло именно так, как желал безымянный писатель: правая дверца была отворена и в образовавшуюся щель впорхнул маленький, разноцветный, как колибри, господин с огромной шпагой и надутым надменным выражением лица.

– Трогай, трогай, – прокричал он кучеру по-русски и, перейдя на немецкий, представился: – Барон Иона Блюм, с вашего позволения. Господин посол, я поступаю в полное ваше распоряжение.

Если бы они встали рядом, Иона Блюм, хоть был на каблуках, вряд ли достал бы Вильямсу до плеча. «Чем здесь можно распоряжаться?» – подумал посол с тоской, а вслух произнес:

– Я рад, что кто-то в Лондоне считает мое положение здесь устойчивым.

Ноги барона в башмаках, украшенных пряжками со стразами, не доставали до пола кареты, он неторопливо постукивал ими дружка о дружку, словно торопился бежать куда-то по неотложным делам.

– Не в Лондоне, сэр, а в Берлине, – сказал он быстро. – Вам имя Сакромозо ничего не говорит? – голос барона стал интимным.

– То есть абсолютно, – разрушил Вильямс всю таинственность. – Очень экзотическая фамилия.

– Никакой экзотики, обычный псевдоним... А может, и не псевдоним. Граф Сакромозо очень значительный человек!

– Что-то я припоминаю, – Вильямс почесал бровь, он всегда так поступал в минуту задумчивости. – Он не мальтийский рыцарь?

– Пусть будет рыцарь, – согласился Блюм. – Сам он не может ехать в Россию по каким-то только ему известным обстоятельствам.

– Наследил? – усмехнулся Вильямс.

Его уже невыразимо раздражал этот маленький, явно закомплексованный человечек. Откуда у коротышек это извечное желание командовать? Эта потребность в жестком, невежливом тоне? Он ведет себя по меньшей мере как равный. Англичанин никогда не позволил бы себе такого тона.

– Это вне моей компетенции, – важно сказал барон, – а я не желаю обременять себя лишними знаниями.

– Большие знания рожают большую печаль?

– Вот именно, сэр. Мы еще вернемся к Сакромозо, а пока я должен сказать следующее. Успехи русских при взятии Мемеля кое-кого озадачили, а проще говоря – завели в тупик.

– Кого-то в Берлине? – поинтересовался Вильямс.

– Нет, в Лондоне. Эти кое-кто были уверены, что построенный Петром I флот сгнил, а новый не построен. При государыне Елизавете русские занимались в основном строительством каналов и портов.

– Вы думаете, Лондон будет воевать с Россией на море? – иронически сощурился Вильямс.

– Я ничего не думаю и вам не советую, – обрезал Вильямса Блюм. – Я не прошу у вас и содействия в получении секретных данных о русском флоте...

Вильямс удивленно вскинул брови.

– ...благодарение Богу, здесь тропинка протоптана без нас. Но при передаче информации у меня могут быть определенные трудности.

– Определенные? – Вильямс явно издевался над коротышкой.

Что они думают в Лондоне? Кого присылают? Впрочем, этот господин не из Лондона.

– Мне нужны ваши дипломатические каналы, – уточнил барон.

– Я не могу предоставить вам свою дипломатическую почту. Мои отношения с Россией и так оставляют желать лучшего. В Берлине должны это понимать, – голос посла зазвенел от негодования.

– Тише, сэр... Мы ведь служим одному делу. Это мы еще обговорим...

– А при чем здесь Сакромозо?

– Это наш адресат в Кенигсберге и Мемеле. Правда, шифровки мы посылаем не на его имя, а на Торговый дом Альберта Малина. Письма чаще идут не цифирные, а в виде иносказания. Так что вашей дипломатической почте ничего не угрожает... Не желаете бренди, сэр? В такую с-собачью погоду...

Погода действительно испортилась, по крыше кареты барабанил негромкий дождь.

– Спасибо, я не пью бренди, – поморщился Вильямс. – Куда вас отвезти, господин барон?

– Я потом скажу... – Блюм достал большую плоскую фляжку, впрочем, в его кукольных ручках и бокал показался бы бочкой, отвинтил крышку и влил бренди себе прямо в горло. Прополоскав рот, он спрятал фляжку в карман. – Продолжим?..

Дождь невыносимо томительно стекал по стенке кареты, мокрые листья в свете фонаря вспыхивали резким, блестящим светом. От этого начинала болеть голова, а пестрый барон все говорил... говорил...

Почтовый день

Письмо на подносе Никита увидел сразу, как только открыл глаза. Рукой Гаврилы была сделана приписка: «читать незамедлительно, второй день ждет». В этой приписке угадывались иносказательная обида старого камердинера, а также желание поучать тридцатилетнего барина, словно мальчишку из Пажеского корпуса. Поучать-то поучал, но кувшин с квасом поставить не забыл. Никита приник к кружке.

После вчерашней попойки голова гудела как растревоженный улей. Стоит изба безугольна, живут люди безумны, отгадка: пчелы. Изба безугольна угрожала расколоться надвое. Пили в хорошей мужской компании по случаю получения Алешкой корабля. Корабль стоял в Кронштадтской гавани и требовал некоторой починки. Принимавший фрегат старпом деликатно заметил, что пить-то рановато, шут его знает, удастся ли его починить... Но старпому дружно заткнули рот. Главное, чтобы был капитан, а он налицо.

Моряки дымили трубками и вели хорошие разговоры. Говорили о славе русского флота, о гениальности и просчетах Петра Великого, о недавней мемельской победе, о величии русского характера. При таких разговорах вино замечательно идет, Никита и не заметил, сколько бутылок, а вернее сказать, сколько ящиков они опорожнили.

Однако будем читать «незамедлительно», еще распоряжается, старый черт. Письмо было от московской тетушки Ирины Ильинишны, которая, впрочем, давно жила не в Москве, а в усадьбе ее второго, ныне покойного мужа. Усадьба эта находилась верстах в семидесяти от Петербурга. Как только Никита увидел ее витиеватую роспись, у него еще больше испортилось настроение. Живут, кажется, совсем рядом, но никогда не видятся. Уж наверняка Ирина Ильинишна приезжала в столицу, но визитом не радовала и к себе не звала. Тем не менее письма писала и неизменно просила денег. Ему не жалко, пошлет с оказией, но противно знать: деньги просятся не от нужды, тетка была сейчас не беднее, чем он, а от желания как можно больше взять «сомнительного» племянника.

Однако это письмо разительно отличалось от всех прочих. Денег на этот раз тетушка не просила, а с самых первых строк начала горевать, что не может приехать в Петербург по причине болезни. (А чего бы это вам приезжать, милая тетушка? Болейте себе на здоровье!) Вместо себя тетушка высылала некую даму, судя по описанию – ханжу. Она дама должна была сопровождать некую девицу, которую Никита должен был (одни долги!) принять на жительство в своем доме.

Никита решил, что тетушка определенно тронулась умом, а сам он после пьянки потерял возможность что-либо соображать. Он еще раз попил квасу, потом долго тряс головой, как отбивающийся от мух бык. Только после этого он приступил к повторному чтению письма. Со второй попытки кое-что прояснилось. Девица оказалась племянницей тетушки по первому мужу. Имя у девицы было уникальное – Мелитриса, это же надо – сподобил Господь... Та-ак, дальше... Оной Мелитрисе выпала несказанная удача: Их Императорское Величество призывает ее ко Двору. Девица бедна, живет у родственной старухи и никогда не могла бы рассчитывать на подобное счастье, если б отец ее, полковник Репнинский, не пал смертью храбрых в битве при Гросс-Егерсдорфе. Далее тетушка просила принять девицу и сопровождающую ее даму у себя в доме и помочь вступить Мелитрисе на ту сказочную тропу, кою уготовила ей судьба.

Никита в себя не мог прийти от изумления. Интересно, как это тетка все себе представляет и как он будет им помогать? Он попытался было представить Мелитрису. Какой может быть родственница тетушки? Унылая, расчетливая, худая, как палка, над ушами эдакие букельки... Бестелесный фантом немедленно рассыпался, уступив место жалости. Не слишком ли большую плату потребовала судьба у бедной девочки: гибель отца за призрачное счастье жить

при дворце. Первый муж тетушки был Репнинский, это он определенно помнит. Отец девушки, видимо, приходился братом покойному, а теперь после смерти героя на плечи тетушки ложится забота о сироте. Зачем Ирине Ильинишне бедная родственница, если ее можно спихнуть на племянника. Никита понял, что ему все это очень не нравится, даже под ребрами заныло. Может, это сердце? Надо будет порасспросить Гаврилу, что означает такая боль.

Ладно, пусть едут, потом разберемся. Пора начинать день. Никита уже хотел крикнуть слугу, но тот явился сам, неся на подносе еще одно письмо, вернее записку, небрежно сложенную.

– Это еще что?

– Мальчишка давеча принес. Дело, говорит, спешное.

Записка была написана по-немецки и, видимо, впопыхах, листок был какой-то дрянной, испачканный то ли сажей, то ли черной краской. Перевод записки звучал бы так: «Ваше сиятельство! Всемиловитейший князь Никита Григорьевич! Пишу вам в величайшем смятении, потому что нахожусь под домашним арестом. А виной тому, что воспрепятствовал добровольно отдать жрицу души моей русским супостатам. К стопам припадаю и, зная вашу всегда ко мне доброту, только на вашу помощь надеюсь. Страждущий невинно Мюллер».

Никита опять припал к кружке. Лицо загадочной, миловидной Анны возникло перед его глазами. Уж не ее ли Мюллер называет жрицей души? И о каких супостатах идет речь? Здесь тебе не бесстрастное тетушкино послание, не худосочная девица, вызывающая в мыслях что-то эдакое из гербария, а живая, прекрасная женщина, попавшая в беду. Надо ехать немедленно!

Гаврила в сенях воздевал руки и вопил что-то про стынувший завтрак. Никита успел прихватить со стола непечатую бутылку с квасом. Коляска уже стояла у подъезда. Пить квас прямо из бутылки при наших дорогах до чрезвычайности затруднительно. Стекло угрожающе било по зубам. Вот ведь гадость какая – жажда! Как в пустыне, честное слово! И чем больше пьешь, тем больше хочется. А может, он заболел? Надо бы справиться у Гаврилы, при каких болезнях жажда не утоляется. Мысли об ущербном здоровье никак не мешали Никите думать о предстоящей встрече со служанкой Мюллера. Право, даже сердце стучит,

как у мальчишки перед свиданием. И все эдак романтично! Его позвали, и он полетел... распушил павлиний хвост старый холостяк.

У дома художника сидел немолодой солдат. Видно, он сам вынес табурет в палисад, расположил его в тенечке под кустом пыльных георгинов и теперь в полном благодушии курил трубку. При появлении Никиты он неловко встал.

– К арестанту желаете? – он захихикал и повел загорелой жилистой шеей, показывая всем своим видом, что история, прошедшая давеча в этом доме, крайне его забавляет и никак не стоит серьезного к себе отношения. – Извольте... – он отворил перед Никитой дверь.

Мюллер сидел на лавке, вытащенной на середину комнаты. При появлении князя Оленева он встал и даже сделал неопределенный жест, намереваясь пойти навстречу гостю, но ноги его совсем не держали, и он тяжело плюхнулся на лавку. Слезы, до этого высохшие, опять потекли из незакрытых очками глаз и растеклись по обширным щекам подобно майским ручьям на пригорке.

Никита ожидал увидеть в мастерской следы если не погрома, то драки, но оказалось, что «невинно страждущий» пытался воспрепятствовать только словами и размахиванием рук. Однако даже при столь малом сопротивлении супостаты разбили ему очки, пару бокалов и гипсовую голову Аполлона. Никита огляделся, надеясь увидеть Анну.

– Увели, увели девочку... Убийцы, охальники!..

– Почему ее увели?

– Я знаю, кто это написал! – возопил Мюллер, грозя пальцем. – Это Карл Ладхерт. Он уверяет, что он гравер, но он не художник, а завистник и вор. Он был здесь на прошлой неделе. И все ужом вертелся, – Мюллер поджал губы и вытянул шею, передразнивая неведомого Ладхерта. – «Уступи мне Анну... Зачем тебе такая дорогая модель?» Можно подумать, что ему, прощелыге, она по карману! А Анна, невинная душа, только смеялась. Ох, как она смеялась, господин Оленев! В ямочках на ее щечках, право слово, стекалось солнце. Бедное, бедное дитя...

Несколько обалдевший Никита слушал этот монолог не перебивая. Ясно было, что если не дать Мюллеру высказаться, они никогда не доберутся до сути.

Но художник и не собирался давать толковые объяснения. С ямочек на щеках он перешел на шейку, «изгибистую как стебель лилии», с шейки перескочил на ножку: «да разве грубых башмаков она достойна? Мягкий сафьян и по ковру, по ковру...»

– Куда увели Анну? – рявкнул, теряя терпение, Никита.

– В тюрьму. В Калининский приказ.

– Быть не может!

Никита ожидал всего чего угодно, только не этого. Дело оказалось куда более сложным, чем он мог предположить.

Калининский дом, наводивший ужас на многих представительниц прекрасного пола, возник в Петербурге после того, как государыня именным приказом закрыла скандальное заведение знаменитой Дрезденши. Предприимчивая немка в свое время организовала дом свиданий, куда хаживали клиенты из самых лучших домов города, причем не только мужья, но и жены. Заведение называлось «Модная лавка». Но людям рот не заткнешь. До слуха государыни стали доходить пикантные подробности, а потом и скандальные, прямо-таки срамные дела. Осиное гнездо вывели в одночасье. Немку выслали в ее родной Дрезден, а в Петербурге учинили особую комиссию, заседавшую в Калининском доме. Целью этой комиссии была борьба с проституцией, причем не только на улицах, но и в домашних условиях. Государыня решила пресечь всякую внебрачную связь. А потом потекли доносы.

Радетелей о нравах не наказывали, поэтому каждый второй донос был ложным. Слова «услали в Калининскую комиссию» стали нарицательными и воспринимались обывателями не столько с насмешкой, сколько с состраданием. Никита сразу понял, что имел в виду несчастный Мюллер, проклиная товарища по художественному цеху. Что руководило Карлом Ладхертом? Мсть, зависть?.. Никита вдруг смутился, как юный гардемарин. Ведь он и сам в свои тридцать с гаком с удовольствием вспоминал прекрасную Анну. Как легко оболгать чистого человека. Но люди грешны... Вдруг?.. Он искоса взглянул на взволнованного Мюллера.

– Донос вашего Карла имел под собой какую-нибудь почву? – уклончиво осведомился Никита, не мог же он спросить напрямик, была ли Анна его любовницей.

– Вот именно... почву... Это вы правильно подметили! – возопил несчастный художник. – Только в мыслях держал я ваять с нее красоту и любил, как родную дочь.

«Ох, хитришь, старик, – подумал Никита. – Что не получилось у тебя ничего, в это я охотно верю. Но чтоб только в мыслях держал и все такое прочее... Я на вашего брата художника насмотрелся. Народ ушлый, возраст для вас не помеха». Он хотел сказать, что если девица чиста, то большой беды для нее не будет. Подержат и выпустят. Вопрос только в том, сколько ее продержат... но не сказал. Не хотелось вслух обсуждать чистоту Анны.

– Чем я могу помочь?

– О, князь, вы знаете, что такое быть немцем в России! Farbe halten!

Фраза эта уже стала расхожей и означала: молчи, когда унижают. Никита понимающе кивнул.

– Зачем сидит здесь этот солдат? Как долго он будет здесь сидеть? – продолжал взывать Мюллер.

– Очевидно, до особого распоряжения. Тюрьма вам не грозит.

Мюллер быстро закивал.

– О, ваше сиятельство, никогда не поймешь, что у русских на уме. Помогите мне уехать из России. Это трудно! Это страшная волокита, особенно если нет поручителя. Я должен трижды, – его пальцы подтвердили эту цифру, – дать объявление в «Санкт-Петербургских Ведомостях» о своем отъезде, дабы имеющие на меня долги могли явиться по указанному адресу. Только после этого я могу хлопотать о паспорте.

– А как же Анна?

– Я возьму ее с собой, – быстро сказал Мюллер. – Если удастся. А если нет... Такова судьба. Мой девиз: «в опасности успеи скрыться!»

«Да ты еще и трус, приятель!» – обиделся за Анну Никита.

– Но чтобы оправдать свой девиз, – бодро продолжал художник, – я должен хлопотать, вы не поверите, князь... в трех местах: в Коллегии иностранных дел, в Адмиралтействе и в полиции. Я должен заплатить городу пошлину за три года! Отчего русские так любят цифру три? Я разорен, разорен! – и Мюллер заплакал навзрыд.

«Старый сатир! Счастье, что ты не успел совратить невинную девицу. Тебе бы об этом плакать!» – злоба так и душила Никиту. Но он знал, об этом можно думать, но нельзя говорить вслух. Мюллер и впрямь достоин жалости. Всем известно, как тяжело иностранцам уезжать из России. Он и сам не раз видел, как ходили по улицам гонцы от городской управы и под барабанный бой оповещали списки иностранцев, желающих оставить Петербург. А ну как задолжал в зеленой лавке или при покупке дров?

– Что делать с тобой, мы еще придумаем, – строго сказал Никита. – Когда увели Анну?

– Вчера вечером.

– Ее не обижали?

– Как же не обижали, если обозвали «девкой»? Но она держала себя как леди. Ни одной слезинки! Только и бросила: «Поберегите мои вещи». А у нее вещей-то – одна шляпная коробка с бельем.

«Девушке надо помочь...» – с этой мыслью Никита оставил дом Мюллера. В коляске на глаза попалась наполовину опорожненная бутылка с квасом. Странно, жажда его уже не мучила. Его мучил другой вопрос: к кому обратиться за помощью? Конечно, он сразу подумал о Корсаке. И тут же отбросил эту мысль. У Алешки нет таких связей. Вот если бы здесь был Белов, он наверняка бы дал толковый совет. Уж наверное, Анна не первая, кто попал в подобную ситуацию. И тут он ударил себя по лбу. Как он не подумал об этом сразу? Иван Иванович Шувалов – вот кто сможет ему помочь. Правда, он фаворит, а Никита взял себе

за правило ни о чем никогда не просить приближенных императрицы. Но он ведь не за себя попросит. Он хочет заступиться за оклеветанную невинность! Шувалов-младший – добрейший человек. Он может убедить высокий суд в том, что Анна невиновна.

И Оленев велел кучеру поворотить коляску к апартаментам Шувалова.

Камергер Шувалов

Новый дом Ивана Ивановича Шувалова находился на углу Невской перспективы и Садовой улицы. Государыня посетила этот дом и нашла его прелестным. Великая княгиня Екатерина, желая угодить, добавила, что хозяин вложил в постройку весь свой вкус. Однако в своем кругу Екатерина дала волю языку: «Чего-чего, а вкуса у Ивана Ивановича никогда не было. Снаружи этот особняк похож на манжетки из алансонского кружева, весь в резьбе и завитушках, а что делается внутри, я и не говорю! Там каждая завитушка вопит: «Мой хозяин богат!» Фрейлины и статс-дамы молодого Двора тут же подхватили остроту. Ах, как им хотелось самим переступить порог этого дома! «Вы слышали, кабинет в нем отделан чинарой и был покрыт до самого потолка лаком... Но хозяину не понравился цвет, и он велел покрыть дерево безвкусной резьбой. Хи-хи-хи... резьбу потом посеребрили.... а картины на стенах все больше копии...»

Когда Екатерина познакомилась с Иваном Ивановичем Шуваловым, он ей понравился, это уже потом их отношения испортились. Описывая в своих мемуарах их первые встречи в Ораниенбауме, она украсила лестные отзывы о нем словечком «очень»: вежлив, внимателен, хорош собой, бледен. Юному пажу было восемнадцать лет. Он всегда ходил с книгой под мышкой, скрывая от окружающих заглавие, словно опасаясь, что чья-то бесцеремонность смочит картинку, явившиеся его воображению после прочтения этой книги. Великая княгиня тоже любила читать. Нимало не сумляшись, она пишет, что укрепила Шувалова в этой склонности (ей было тогда 16 лет), объяснив ему, сколь важно в жизни стремиться к образованию. Более того, она была уверена, причем совершенно искренне, что способствовала его будущей карьере, обратив на Ивана Ивановича внимание его двоюродных братьев – Петра и Александра Шуваловых, бывших любимцами Елизаветы.

Но старшим Шуваловым ничего не надо было объяснять, «сами были с усами». Оба они в молодости состояли при дворе Елизаветы, а потом своей решительностью и верностью помогли ей занять трон. Судьба наградила Петра Ивановича маленькой, некрасивой, веселой и чрезвычайно ловкой супругой Маврой Егоровной, в девичестве Шепелевой. Мавра Егоровна сумела занять при Елизавете место, которое было выше старшего чина в табели о рангах. Она была чесальщицей пяток, то есть находилась день и ночь при императрице, знала все ее тайны, нашептывала в царское ушко все дворцовые сплетни. Мавра Егоровна была незаменимая. Она и использовала случай, чтобы показать государыне умного и красивого родственника.

В селе Знаменском, что на пути из Москвы в монастырь Св. Саввы, ждали прибытия государыни. Предполагалось, что она только заглянет в имение хозяина Знаменского – Федора Николаевича Голицына, дабы отдохнуть по дороге на богомолье. Но где отдых, там и обед, а обед с государыней, хоть и постный, всегда праздник. Родня и гости Голицына образовали живой коридор, под ноги Елизавете бросали полевые цветы и только что срезанные влажные розы. И красивый Иван Иванович бросал, щеки его пылали...

– А вот наш двоюродный брат... очень умный и достойный молодой человек, – шепнула Мавра Егоровна Елизавете.

Государыня задержала на юноше рассеянный взгляд.

– Ну что ж... возьмем его с собой. Пусть помолится...

Елизавета только улыбнулась умному пажу, а по дворцу уже поползли слухи. Предположения высказывались самые смелые – неужели Разумовский Алексей Григорьевич потерпит рядом с собой фаворита, неужели Бестужев – враг Шуваловых, допустит еще большего возвышения этого семейства? Иван Иванович не сделал никаких усилий, чтобы оправдать шепоток придворных. Все как-то случилось само собой, а более всего стараниями Мавры Егоровны.

Через три месяца после богомолья в честь св. Саввы, уже в Воскресенском монастыре, что прозывался Новым Иерусалимом, государыня объявила о произведении пажа Ивана Шувалова в камер-юнкеры. Двор перевел дух, самые смелые предположения оправдались. Государыне было сорок, новому фавориту двадцать два. Осенний день был ясным, погожим, кленовые рыжие листья

в сочетании с зелеными изразцами, которыми были украшены и храмы, и монастырская ограда, вызвали в памяти шедевры живописи, где все гармония, все красота. Ах, как празднично было вокруг, какие добрые у всех лица, как милостива и прекрасна была государыня!

Предсказания дворцовых остроловов, что этот круглолицый, тихий красавец только «временный каприз», не сбылись. Иван Иванович занял прочное место при дворе Елизаветы, а в последние годы ее жизни, когда она много болела и редко появлялась на людях, Иван Иванович, не занимая никакой крупной должности (просто камергер), был едва не единственным сановником, имеющим свободный доступ к Елизавете.

Никиту Оленева с графом Шуваловым тоже свел случай. Лет пять назад он был представлен Ивану Ивановичу, но встреча эта ничем не была окрашена, обычная, дворцовая ритуальность, раскланялись и напрочь забыли друг о друге.

Вторая их встреча произошла за границей, а именно в Венеции, в театрике, где давали только что написанную несравненным Карло Гольдони «Трактирщицу». Гольдони был любимцем города, представление все время прерывалось овациями и хохотом. Никита смеялся больше всех. После представления уже на выходе его остановил стройный, роскошно одетый молодой человек.

– Вы русский?

– Да.

В зале уже гасили свечи, и в полутьме Никита никак не мог вспомнить, кто этот вельможа и откуда он его знает. Внимательные глаза, высокий лоб, на лице выражение приязни и легкой грусти, которую не могли развеять даже проделки веселой трактирщицы. И еще брови, красиво очерченные, пушистые, что называется «соболиные», до которых хотелось дотронуться пальцем, как до хорошей кисточки, прежде чем взять на нее краску – Никита уже вспомнил и хотел приветствовать нечаянного собеседника полным титулом, но тот сам представился с улыбкой.

– Мы встречались... дома. Иван Иванович Шувалов.

Никогда бы они не сошлись так близко в России. Венеция – особый город, да и город ли? Этот плавающий в Адриатике остров с каналами, дворцами и храмами казался не созданием рук человеческих, но самого Творца, его капризом, его счастливой и доброжелательной улыбкой.

Венеция в ту пору была второй столицей Европы, только Париж мог разделить с ней свою славу. Но Париж был городом просвещения, энциклопедий и ученых разговоров, а Венеция – вечным карнавалом, театральными подмостками, на которые не зрителями, а лицедеями стекались лучшие люди Европы, богачи, авантюристы, женолюбы, шулеры, чародеи и ценители прекрасного. Вооружившись масками, Никита и его новый друг ходили в театры, слушали в женских монастырях, преобразованных в музыкальные школы – консерватории, несравненное пение на музыку Скарлатти, Гассе и Галуппи, по вечерам их гондола бороздила Большой канал, в казино Ридотто они заправски метали банк, а потом пили в уличном кафе белое вино и шербет. И не было собора, которого бы они не посетили; любовь к Тициану и Карпаччо внесла в их дружбу особый, яркий мазок. За границей сословные различия у русских стушевываются, они словно подняты над местным обществом тем, что являются представителями великой державы. Где бы за границей ни был русский, он, хоть и ругает дома отечество самыми черными словами, здесь становится спесив необычайно. Об этом тоже было говорено под низким звездным венецианским небом.

Однако время, отпущенное фавориту для заграничного вояжа, кончилось. Были заказаны муранские зеркала, отобраны и сторгованы картины для галереи Ее Величества. Никита принадлежал себе, а не государству, но Иван Иванович уговорил его поехать домой, увлекая мечтой о создании в отечестве Академии художеств.

По мере приближения к границе отношения между новоиспеченными приятелями менялись. Нельзя сказать, чтобы они стали прохладнее. Иван Иванович был по-прежнему мил и прост в обращении с Никитой, но оба чувствовали, что словно бы разъезжаются в разные координаты по вертикали. Иван Иванович поднимался в то высоко, куда занесла его судьба. А Никита шаг за шагом спускался к тому скромному положению, которое занимал он по своей охоте и воле. Происходило это как бы само собой, но если здесь уместно произнести слово «инициатива», то она шла от Никиты. Он ни в чем не заискивал перед Иваном Ивановичем. Боже избавь, он не стал называть приятеля «ваше сиятельство», он без усилий и намека на обиду спустил простоту их отношений

до какой-то новой, видимой ему планки, да там и остался.

Иван Иванович этого словно бы и не заметил, хочешь так – пожалуйста, значит, тебе так удобнее. Сословно они были равны. Никита хоть и князь, но незаконнорожденный, усыновленный, конечно, при гербах, наследник, но... он-то знал: как недоношенные дети, будь они потом хоть богатырского сложения и недюжинного ума, не могут увериться, что провели в утробе матери положенный срок, так и незаконный... Шувалов был из местнопоместных, захудалых. Став фаворитом, он мог получить любой чин, нацепить на грудь любой орден, но он предпочел остаться всего лишь камергером и кавалером двух орденов: Александра Невского и польского Белого Орла, который попал к нему случайно.

Эти отношения сохранились у них и в России. Никита, хоть Шувалов был моложе его на два года, относился к фавориту как к старшему. Да и как же иначе? В свои тридцать Иван Иванович был не только фаворитом и меценатом, но куратором и основателем Московского университета, Ломоносов, слава о котором гремела, был его другом, драматург Сумароков – частым гостем. Шувалов относился к Никите бережно, и беседы у них были весьма откровенные, хотя они не могли часто видаться.

Последний раз Никита видел Шувалова месяц назад, да и то мельком. Иван Иванович находился почти неотлучно при особе государыни, а та любила проводить лето за городом – в Царском или Петергофе. По дороге к Шувалову Никита решил, что оставит графу записку с просьбой о неотлагательной встрече. Однако Иван Иванович был дома и принял его незамедлительно.

Встреча произошла в том самом резном кабинете, о котором злословили фрейлины Екатерины. В комнате был полумрак, граф сидел у горящего камина и выглядел очень по-домашнему.

– Здравствуй, друг мой! Извини за вид. Я болен. Лекарь говорит – простуда и добавляет еще кучу терминов, а я думаю – ипохондрия на меня напала, – рука его поднялась с подлокотника кресла и тут же безжизненно упала.

Иван Иванович и впрямь выглядел неважно, камзол мят, кружева, с которых сполз крахмал, не стояли торчком, а словно льнули к запястью. Правда, болезненный румянец на щеках хозяина можно было приписать камину,

в комнате стояла тропическая жара. Обделенные климатическим теплом, русские от своей широкости отапливают свои жилища как никто в мире.

Никита еще раньше разгадал слабость Ивана Ивановича – он любил болеть. А болезнь сразу ввергала его в черную меланхолию. Но Никита подозревал, что все его простуды, сухие колики, флюсы и прочая гадость начинались у него как раз с меланхолии, а по-русски говоря – с тоски. Иной затоскует – пить начнет, смотришь – и полегчало, ну а если у тебя организм алкоголя не приемлет, то перебарывай ипохондрию побочной хворью. Что-то в Венеции он не был подвержен заболеваниям с подобным диагнозом.

Из-за шкафа выбежал, бряцая по паркету коготками, маленький белый пудель, на шее у него был замысловато повязанный бант из шелка салатного цвета, такой же бантик, только поменьше, украшал кончик хвоста. Пуделек подбежал к Никите и радостно тявкнул.

– Ах, какая милая собачка, – вежливо произнес Никита.

– Я бы не сказал. Разве это собака? Бутоньерка. Подарок великой княгини. Кто-то из ее английского семейства оценился.

– И как его зовут?

Шувалов рассмеялся.

– Разве ты не знаешь, что всех белых пуделей зовут Иванами Ивановичами? Левушка Нарышкин говорит, что этот, – он указал на собачку, – может стоять на задних лапках, ходит, как человек, и любит банты светлых тонов.

– Так это Нарышкин принес собаку?

– Он... Только что ушел.

Лев Нарышкин пользовался особой славой при дворе. В царствование Анны Иоанновны ему непременно присвоили бы звание дворцового шута, при этом он бы получил и фавор и оклад. Мягкие времена Елизаветы наградили его только кличкой Арлекин. Он был очень неглуп, знал все дворцовые сплетни

и обладал истинно комическим талантом, мог рассмешить любого, если имел такое намерение. Рассказывая о каком-то событии, он болтал без умолку, словно получая удовольствие от самого процесса говорения, слог его был красочен, с метафорой, с ссылкой на древних, которых он цитировал без всякой натуги, при этом у слушателя сама собой возникала мысль – а не дурачат ли его?

Анекдот с английским пуделем, которого подарил Екатерине муж, тоже был красочно пересказан Левушкой Нарышкиным. Просто за пудельком ухаживал ее истопник Иван Ушаков, и все стали по имени этого Ушакова так звать собачку. Пуделек был превеселый, несколько нервный, общий баловень. Ему сшили одежду светлых тонов. Светлые тона любила государыня и ее фаворит. Что ж, еще не такое бывает – просто совпадение, но скоро о пудельке по кличке Иван Иванович стал говорить весь Петербург. Статс-дамы и фрейлины Екатерины поспешили тоже обзавестись белыми пудельками – и все Иваны Ивановичи. Слух о новой моде дошел до государыни и страшно ее разозлил. Она дала взбучку во дворце и назвала этот поступок дерзким. Дело с трудом замяли, но сейчас, видно, оно стало работать по другому кругу. Уж на что Никита был далек от Двора, но и он понял, что подарок Екатерины неспроста, или она хочет отомстить за что-то Шувалову, или объявить ему открытую войну. Уж не это ли причина неожиданной меланхолии?

– Ну что смотришь? Глаза, как пуговицы, – обратился Шувалов к пудельку, тот нерешительно твякнул. – Вид у тебя не из умных, но дареному Ивану Ивановичу в зубы не смотрят!

Никита с радостью подумал, что чувство юмора у хозяина дома по-прежнему присутствует. Оленева давно поразило наблюдение – при дворе начисто отсутствует именно чувство юмора. И мужчины, и женщины при обсуждении сплетен, дел политических, интриг и истинно добрых поступков, ведь и такое случается, всегда предельно серьезны. Каждое мельчайшее событие – как была одета на балу государыня, куда мушку прилепила, сколько бокалов шампанского изволила вкусить – обсуждалось с почти библейской значимостью и серьезностью. В моде были подозрительность, ревность, показная набожность и такая же показная любовь к государыне. Шувалов был в этом породистом стаде приятным исключением.

– Да, забыл сказать. Спасибо за картину, – продолжал Шувалов. – Я выбрал море. Там замечательно выписан берег и мужская фигура, хоть ее почти и не видно, полна такой грусти... У нее такая беззащитная спина. А воду никто не умеет

писать... Море на картинах, если оно волнуется, то эдакий барашек... если спокойно, то мрамор...

Никита закивал головой. Шувалов давал ему возможность перейти к задуманному разговору.

– А ведь я к вам с просьбой, ваше сиятельство...

– Не надо «сиятельств», давай, брат, как в Венеции, – он заговорщицки улыбнулся.

– Иван Иванович, я пришел вас просить за безвинно пострадавшего человека. Он имеет отношение к художнику, продавшему вам картину.

– И кто же сей человек? – Шувалов сразу стал серьезен.

– Это женщина, иностранка. Она простого звания, но судьба ее, поверьте, ужасна.

– При чем здесь звание? Наш долг заботиться о каждом христианине, – он болезненно улыбнулся, – да и не только о христианине.

Никита с готовностью кивнул.

– Месяц или около того, я точно не знаю, молодая особа Анна Фросс нанялась в служанки к художнику Мюллеру. А теперь – донос. Ее забрали в Калининский дом.

Иван Иванович коротко взглянул на Никиту и тут же отвел глаза, он понял щекотливость просьбы. Вдохнул, постучал пальцами по столу.

– Спрашивать тебя о том, есть ли основания для подобного доноса, я не буду. Ты, как говорится, свечи не держал. Но вообще это ужасно! – воскликнул он с сердцем. – Мы, русские, всегда бросаемся из одной крайности в другую. Я слышал рассказы об этих несчастных. Их посылают после проверки, которая оскорбительна и всегда не в их пользу, в шпалерные мастерские или в ткацкие. И заметьте, мужчин если и привлекают к ответственности, то никогда

не наказывают. Дело для них кончается назидательными разговорами. Этот Мюллер молод?

– Старик. Он хочет бежать из России.

– Мы несправедливы к иностранцам. Сами зовем их в Россию, а потом либо забываем о них, либо наказываем варварски. Напишите мне вот здесь фамилию девицы. Я сегодня же подумаю, что с этим делать...

– Такие случаи решает сама государыня, – деликатно напомнил Никита.

– Ах, только не сейчас. Не будем беспокоить Их Величество подобными мелочами. Я обращусь к брату Александру Ивановичу.

Никита внутренне передернулся. Как он забыл о всемогущем брате – главе Тайной канцелярии? Никита привык думать, что от этого государственного органа нельзя ждать ничего хорошего, однако другого выхода не было.

Помолчали...

– Я вынужден беспокоить вас еще одной просьбой, – с трудом сознался Никита. – Она, правда, совсем другого свойства. Речь идет о дочери полковника Репнинского. Как мне стало известно, государыня соблаговолила назначить ее своей фрейлиной. Девица в некотором смысле моя дальняя родственница. Меня просят содействовать... нет, вернее, приютить ее у себя, покуда ее примут во дворце. Так могу ли я сразу по приезде оной девицы уведомить вас...

Шувалов весело расхохотался, видно, от разговора с Никитой ему здорово полегчало.

– Экий ты князь влюбчивый. Вокруг тебя так и порхают женщины. Я помню твой визит в Венеции к некой даме. Она тоже была в некотором смысле... нет, не родственница, соотечественница. После этого визита на тебе лица не было.

– Лицо-то как раз было, – хмуро сказал Никита, – а облик потерял.

– Теперь ты просишь сразу за двух девиц. Я, конечно, сделаю все, что могу, но боюсь, что участие в этих особах тебе даром не пройдет. Две девицы хуже двух зайцев, потому что не ты за ними будешь гнаться, а они за тобой.

– Я понимаю... я, должно быть, смешон, но как же быть? Коли просят...

– Характер надо менять, чтоб меньше просили, – подытожил Шувалов. – А теперь пошли, перекусим, что ли...

Калинкинский дом

Просьба Ивана Ивановича двоюродному брату Александру Ивановичу была скромной: «смягчить участь несчастной» – не более. Кажется, что для главы Тайной канцелярии подобная просьба звучала как сущий пустяк, пальцем пошевели, все само собой исполнится. Но это было не так. Будь подследственная воровкой или убийцей, присужденная к жестокому наказанию, здесь можно было придумать много способов, как облегчить участь, – дело Божье. Но если особа безнравственна, уличена в зазорной связи, если потеряла она женский или девичий стыд и если за столь позорное поведение присудят ей не четвертование, не виселицу и не огонь, а всего лишь прядильню или шпалерную фабрику, то как можно помышлять об еще меньшем наказании? Куда уж тут смягчать?

Александр Иванович не был ханжой. Он просто знал, что Калинкинский двор курирует через духовника своего Федора Дубянского сама государыня.

Протоиерей Дубянский, муж святой и разумнейший, в свое время все сделал, чтобы осиное гнездо разврата – дом Дрезденши – было разорено. По настоянию все того же Дубянского учинили комиссию, дабы разыскивать гулящих девиц, а также «потворенных баб», кои молодых жен «с чужими мужьями сваживают». Александр Иванович двумя руками голосовал за нравственность, а то, что с разгромом дома Дрезденши он потерял лучших своих осведомительниц, так об этом знает только он сам и пара чиновников из Тайной канцелярии.

Сейчас Дубянский редко появлялся в Калинкинской деревне, и недосуг ему, и не по чину разбираться со всякой мелюзгой, но своих людей и в охране, и в комиссии имел множество. Словом, обо всех делах был осведомлен. Государыня любила иногда послушать из чистых уст подробный рассказ о том, как именно согрешила некая «А» или «Б» и как порок был наказан.

Что там ни говори, а просьбу Ивана Ивановича нельзя оставить безответной. «Ты мне – я тебе», – этот девиз на Руси был всегда неперменным правилом и соблюдался свято.

«Тьфу ты, незадача, – подумал Александр Иванович с раздражением, – хоть бы устно... нет, запиской известил. Написал, а потом небось забыл вовремя переслать. И валялась сия бумажонка на столе, чтоб кто-нибудь из грамотеев ненароком глаза туда и запустил. Тьфу на тебя! Как зовут прелестницу-то? Ага... Анна... арестована по доносу...»

Александр Иванович вздохнул. Он уже понял, что потащится в Калинкину деревню сам. Если возникнет вдруг необходимость объясниться с государыней, то он всегда может отговориться, что искал-де свидетеля или снимал допрос по побочному делу.

Путь в Калинкинский двор был не близкий. Александр Иванович велел заложить экипаж и отправился в дорогу в самом дурном расположении духа.

– Приведите арестованную Анну Фросс.

Служитель с поклонном удалился. Шувалов отметил про себя, что тот, не переспрашивая, сразу понял, кого надо привести. Народу в Калинкинском дворе было обычно немало, и прежде, чем найти нужную персону, приходилось долго объяснять, кто да зачем. Видно, здесь знали Анну Фросс, и уж, конечно, не без помощи любезного Ивана Ивановича.

Следственная комната, лекарская, палаты для девиц, которые по примеру тюрем назывались темницами, хоть света в них было предостаточно, все это размещалось в бывшем помещичьем доме некоего Калинкина. Усадьба отошла в казну в счет долгов, была она шибко неказиста, но подвернулась весьма кстати. Дом был обставлен на скорую руку, как бы временно, но с твердой уверенностью, что сейчас они примут первых «пропащих девиц», совершат

медицинский досмотр и праведный суд, отправят осужденных, куда след, а там и обустроятся, приведут все в надлежащий порядок. Но всякий знает, ничего нет на свете более постоянного, чем временные неурядицы. Мебелишка как была дрянной, такой и осталась, полы еще более защеляли, окна за год не удосужились помыть, вот только портретом государыни обзавелись, так и сияет на радость подданным.

Парадный портрет императрицы во всех регалиях и короне занимал всю стену над шатким столом. Одного взгляда на портрет было достаточно, чтобы понять – художник полная бездарность. Каждый камешек на ордене, каждый волосок и фестончик на платье были выписаны очень прилежно, и от этой прилежности особенно раздражительно было видеть непохожесть копии на оригинал.

В те времена Елизавету Петровну писали много и часто. Портрет государыни должен висеть в Сенате, Синоде, в коллегиях, а так же на почтах, полицейских управлениях и прочая, прочая всего государства Российского. Писать портреты приглашали из-за границы известных художников. Особое место занимал француз Каравак. Еще в сорок третьем, в начале царствования Елизаветы, он получил большой заказ: написать двенадцать парадных портретов для русских посольств в иностранных государствах. Каравак был посредственный художник. Он растиражировал по России и Европе несколько слащавый, мало похожий на себя не обаятельный образ государыни, зато скипетр, держава, муаровая лента через плечо и орден Св. Екатерины были выписаны ярко, смело и с полным изяществом.

Ясное дело, Калинкинские палаты украшала очередная подделка под Каравака. Елизавета на полотне была тучна, роскошна, лицом туповата, груди, прости Господи, как спелые яблоки, готовы были выкатиться из платья. Эдакой дебелий не страной править, а на подушках с любовником возлежать! Да и возлежит! – пискнул внутренний, чрезвычайно трезвый пакостный голосишка. Подумалось, хоть дом этот и есть судилище, все равно он по сути своей бордель, поскольку ни судьи, ни стража не делают в нем погоду, а собранные вместе прелестницы даже дыханием своим испускают в воздух особые бесстыдные миазмы. Где-то далеко, за многими стенами, вдруг весело запел женский голос, и в этот же момент Александру Ивановичу показалось, что Елизавета Петровна игриво подмигнула ему подробно нарисованным глазом, словно и ее, царственную, притащили в эти палаты на суд по эротическому делу.

Шувалов отвернулся, по щеке его пробежал нервный тик. Внутренний голос был призван к порядку и уполз в необозримые дали явно пристыженный. И не может быть человеческое лицо такого, как на картине, цвета. «Ложь?» – заверил себя Александр Иванович, пытаясь вернуть душевное настроение.

Скрипнула дверь. Пыльный, бьющий из окна солнечный луч скрестился с тем, что проник через дверь из залитого светом коридора, и в перекрестье лучей возникла девушка. Лица ее он не увидел, только контур – очень стройная шея, волосы, убранные под чепец, с трудом в нем умещались, одна выющаяся прядь зависла над ухом. Девушка сделала шаг вперед, дверь закрылась, и Александр Иванович увидел, что прядь совершенно золотая, попросту говоря, рыжая, а лицо – во-она как бывает! – имеет тот же самый молочно-розовый цвет, что на портрете государыни. Сейчас он понял, что это была нежнейшая розовость, какая бывает по ранней весне у цветущего миндаля где-нибудь в горах Италии.

«Ах Ванька, ах негодник! – с грустью подумал Шувалов. – У тебя, братец, дело есть – фавор! Ты за этим делом перед всей семьей в ответе. Ты государыню обожать должен, а не слюни перед красавицей распускать!» Александру Ивановичу было невдомек, что Иван Шувалов никогда не видел Анну Фросс и вообще к такого сорта прелестям был равнодушен. Он любил в Елизавете власть, могущество, ум и доброту, а ножка и бюст – дело десятое.

– Ты знаешь, кто я? – строго спросил Шувалов девицу.

– О, мой господин, я не говорю по-русски, я приехала из Гамбурга, – быстро, извиняющимся тоном сказала Анна и сделала книксен.

Александр Иванович повторил свой вопрос по-немецки. На этом благозвучном и благородном языке и протекала их дальнейшая беседа. Девушка смотрела в глаза собеседника без страха и смущения, видно, ее никак не пугал шрам, безобразивший щеку Шувалова.

– В сей стране меня называют великим инквизитором, – важно сказал Шувалов, однако взгляд его потеплел.

Анна всплеснула ресницами, судорожно прижала руки к груди и, как подрубленная, упала на колени. На нежной, склоненной шейке золотился

пушок, ленты на чепце были фиолетовые.

Взять бы ее в дом на должность полуночницы. Легкая, как эльф, как эфир, будет пробегать она по загородному дому, что на островах, и менять свечи в тяжелых шандалах. И чепец пусть снимет, и волосы – золотой водопад, пусть струятся по спине, по груди... А супружница на острова чтоб ни ногой! Склоненная головка дрогнула, видно, она ждала какой-то реакции на свой искренний, смиренный жест.

– Встань, милая, – в голосе Александра Ивановича прозвучали ласковые нотки. – Поведай мне, зачем ты приехала в Россию и какие такие дела и помыслы привели тебя в этот дом. Будь откровенна, – он погрозил пальцем. – Любую ложь мне легко проверить.

– Извольте, ваше высокопревосходительство, – Анна вскочила с колен. – Мне легко говорить с вами, потому что я чиста, – она подняла глаза к небу и перекрестилась, не истово, не фанатично, а жестом полным изящества и потому весьма убедительным.

Разговор их был долгим и, прямо скажем, не для чужих ушей. «Честна, вне всяких сомнений, честна, – отмечал про себя Александр Иванович, – благонаравна, скромна... И того у нее не отнимешь, что умом изрядна...» Временами главе Тайной канцелярии казалось, что в Калининском доме стены имеют уши, а потому он переходил на шепот. Анна смотрела на него серьезно и кивала в подходящих местах. «Мы тебя спрячем, – думал Александр Иванович. – Мы тебя так спрячем, что не только братец Иван – никто к тебе не сможет подступиться».

– Будь готова, милая... Сегодня же к вечеру за тобой придут. Смело иди за оным господином. Служителей здешних я предупрежу.

Ну вот, съездил, и не без пользы. На обратной дороге Александр Иванович опять подумал, что хорошо бы иметь Анну в качестве разливательницы чаю. В конце концов на супругу Екатерину Ивановну можно и цыкнуть. Но что дочь скажет? И опять же – зять... У этой Анны дощечка на лбу, а на той дощечке записано, что не для разливания чаю, а для любования и рукосуйства держат при себе немолодые мужи.

Екатерина Ивановна (в девичестве Костюрина, рода незнатного) была мала ростом, худая, застенчива, но, в отличие от многих, совершенно не боялась собственного мужа. Она имела странное обыкновение – на балах, во время прогулок вдруг впадать в глубокую задумчивость, замирая при этом и телом, и взглядом. За эту ее особенность другая Екатерина, их высочество великая княгиня, прозвала госпожу Шуйскую Соляной столб. Кличка прижилась. Вот так всегда, хотят отомстить мужу, а отыгрываются на ней. Александру Ивановичу доносили, что с подачи все той же Екатерины при Дворе злословили, мол, мадам Тайная канцелярия бережлива не в меру, проще сказать – жадна, нижние юбки носит слишком узки, на целое полотнище уже, чем полагается, на манжеты экономит кружева, а головные ее уборы похожи на прошлогодние гнезда.

Он совсем было забыл о прелестной Анне, а затужил о напрасно обиженной супруге. Потом мысли его опять соскользнули на великую княгиню. Тяжела его служба. Иногда против воли, ведь совсем не любопытен и не сплетник, должен он узнавать тайны людей. Чужие тайны давят... Ну, скажите на милость, зачем ему знать о тесной дружбе между Екатериной и английским послом Вильямсом? Ответ прост. У великой княгини любовь с Понятовским, а юный полк состоял на службе у англичан. Но это было летом пятьдесят пятого... Сейчас Понятовский сам посол, а с Англией мы вот-вот порвем дипломатические отношения. Зачем великой княгине в этой ситуации продолжать дружить с Вильямсом?

И вот ведь какая незадача. Ходят упорные слухи (сам, правда, за руку никого не поймал), что оный Вильямс ссудил великую княгиню деньгами. Иначе как бы она расплатилась с портнихой, ювелиром, да и лошади ныне дороги, а главное, и это точно известно, Екатерина выплатила последние долги за маменьку свою, беспутную Иоганну, которую без малого десять лет как выслали из России.

Однако он строг к великой княгине. Она умна, весела, иногда очаровательна. А что взятки берет (Вильямсу, конечно, сказала, что в долг), так кто их не берет? Этому приятному занятию она в России выучилась. Плохо, конечно, что взятки дает воюющая с нами держава.

Александр Иванович вздохнул... потом задремал, опершись головой о стеганую обивку кареты. Надо бы велеть сюда подушки положить. Где ж спать, как не в карете... Ночью все бессонница мучит, а здесь так сладко засыпашь. И красавица Анна подает чай на расписном подносе...

Как и было условлено, вечером в Калининский дом прибыл за Анной Фросс молоденький подпоручик и препроводил ее в дом престарелой графини Гагариной. А еще через неделю графиня с ласковой улыбкой спросила:

– Я слышала, ваш отец был аптекарем?

Анна потупилась.

– А мать акушеркой?

Анна сделала книксен.

– Возблагодарите Господа, душа моя. Судьба к вам сказочно благосклонна.

Далее графиня возвела очи горе и сообщила, что Анна назначается помощницей акушерки к особе ее высочества великой княгини Екатерины Алексеевны, что завтра же ей надлежит вступить в должность, а именно неотступно наблюдать за беременной и жить вкупе с акушеркой при особе великой княгини неотлучно.

Канцлер

Шестнадцать лет Бестужев доказывал всем и каждому, что Англия – друг России, а Франция – враг, поскольку желает видеть Россию слабой, водит дружбу с Османской Портою, э... да что говорить! Теперь дожили: воюем с Пруссией и Англией, а в Петербург явился собственной персоной французский посол маркиз Лопиталь, бывший ранее послом в Неаполе.

Говорят, что, желая перещеголять Шетарди, посол шесть месяцев готовился к поездке в Россию. Шесть месяцев и четыреста тысяч ливров оказались достаточными, чтобы окружить себя неслыханной роскошью. Русская публика приняла посла и его свиту с восторгом. Да и как не ликовать, если законодатели мод, галанты и лучшие в мире кавалеры опять украсят своим присутствием русские гостиные, будут танцевать, острить, играть по крупной и рассказывать дочкам про далекий Париж, выясняя с осторожными маменьками между делом

вопрос о приданом.

Особенного успеха добился сам Лопиталь, мужчина обходительный, умный, бога-а-тый и вообще красавец.

– Ду-ур-ры! – заходился от негодования Бестужев. – Вот уж скрутит вашего любимца подагра, так и увидите, сколь галантен ваш пятидесятилетний кавалер! Все молодятся! А богатства у него – одни долги! Он еще в Неаполе проворовался...

Бестужев мог и дальше продолжать список пороков нового посла. Война вдохнула свежие силы в работников «черного кабинета», с необычайным рвением и добросовестностью они расшифровывали депеши иностранных послов, выписывая из них не только стратегические сведения, но и малые пустяки, подробности, цена которых иногда превосходила политические сведения.

А политические сведения были таковы: в каждой депеше, переведенной с языка цифр, иностранные послы писали, что кредит канцлера очень упал.

Не впервой Алексею Петровичу читать эту фразу. Все семнадцать лет на все лады твердили голоса: свергнуть, уничтожить, сейчас самое время... кредит Бестужева упал как никогда. Но он всегда мог победить своих врагов, не брезгуя для этого ничем. Цель оправдывает средства – этот лозунг иезуитов был ему близок и понятен.

Другое дело сейчас... Не только умом, интуицией, кожей Бестужев ощущал, что шипение этих лисиц, как ни горько, соответствует действительности: он потерял прежнее значение и политическое влияние не только в Европе, но и дома, в России. И не приезд французского посла тому виной. Посол Лопиталь только последняя капля. Власть у Бестужева отнимали постепенно, пядь за пядью... Шуваловы – вот его основные враги. Петр – главный делец и интриган, Александр – служба сыска и милейший Иван Иванович, любимец Елизаветы. Эта троица возымела желание сама править Россией. Вице-канцлер Воронцов (о, ничтожество!) только игрушка в их руках. Объединившись, они добились того, что канцлер сам порвал с Англией и, скрепя сердце, подписал союз с Францией.

А теперь сидит в пустом доме, слушает дождь и пьет в одиночестве. Можно, конечно, кликнуть, прибегут. Да рожи никакие не хочет он видеть, никому не верит – все предатели! Кого, вы думаете, назначил Воронцов русским послом в Париж? Ну не насмешка ли это судьбы? Братца, умнейшего и гнуснейшего, послали во Францию – Михайлу Бестужева.

Пользуясь случаем, скажем несколько слов о Михайле Петровиче, поскольку он был невольным участником наших прежних повествований. Из заговора Лопухиных Михайло Бестужев вышел чист, только жену потерял навечно. Презирая родину, что подвергла его душевным страданиям, он уехал за границу, желая найти там покой. Но жизнь есть жизнь, и в пятьдесят восемь лет со всем пылом страсти Михайло Петрович влюбился в красавицу графиню Гаугвиц. И, о чудо! – она согласилась на брак. Из Дрездена немедленно полетело письмо в Петербург. В письме Бестужев дал полный отчет о своей свадьбе и стал ждать ответа.

Ответ не замедлил поступить. Слова государыни взялся пересказывать брат Алексей Петрович. Форма была категорической: Михайло Петрович не может вступить в брак, понеже законная жена его Анна Гавриловна и поныне живет под Якутском, посему он есть двоеженец, а графиня Гаугвиц не более чем сожительница! Далее следовал поток писем как с той, так и с другой стороны. Михайло вопил, что он за жену не ответчик, что он чист перед Россией, что он заклинает Их Величество!.. и так далее. В ответ он получал бесстрастные и полные ханжеского достоинства письма канцлера: «Образумься, беспутный брат, ты не юноша, как не стыдно!»

Только в 1752 году Елизавета признала брак Михайлы Петровича и позволила ему с женой приехать в Россию. При первом же удобном случае Михайло Бестужев объявил при Дворе, что приложит все силы, чтобы свергнуть с его поста интригана и проходимца – родного брата. Надо сказать, что он только подрыл пьедестал, на котором стоял канцлер, а от судьбы за это получил новое наказание – графиня Гаугвиц, законная жена его, умирала теперь от чахотки.

Канцлер потянулся к столу, чтобы поставить пустой бокал, но не дотянулся, бокал упал на ковер и разбился вдребезги. Ну и пусть его. Вот так он сокрушит врагов своих! Алексей Петрович неловко встал, хотел потянуться, но суставы предательски хрустнули, вдруг заныло плечо до самого локтя. «Много писал сегодня, – утешил он себя мысленно, но тут же усмехнулся: – Лукавишь, Алексей батькович, не в усталости дело... и не в вине. Вино только бродит в крови,

поднимает со дна жизненную силу».

Чуть прихрамывая, он подошел к зеркалу: тьфу ты, гадость какая! Он смолodu не отличался красотой, но если придать лицу серьезность, оно как бы сразу хорошело, намечалась глубокая, умная складка на переносье, в небольших, ярких глазах светилось что-то... эдакое, зоркость, цепкость. Ум в глазах не скроешь, а вот улыбка его никогда не красила. Как ни старался он иногда изображать веселость, улыбающееся лицо его походило на оскал сатира либо на усмешку палача, что торжествует над своей жертвой. А сейчас при серьезном выражении лица он похож не на государственного мужа, а на... барбоса злобного, вот на кого. Пить надо меньше, батенька канцлер! Улыбнуться зеркалу он не решился, не хотелось лишний раз видеть свои гнилые зубы.

– Надобно действовать... – строго сказал канцлер зеркалу и опять сел за стол, но бутылку отодвинул, взял лист бумаги.

Прошли те времена, когда он в молодой запальчивости, еще пятидесяти ему не было, мог говорить: «Главное для меня – благосостояние России, мое благополучие – дело второе!» Сейчас он стар и мудр. Россия как стояла, так и будет стоять, а у него жизнь прошла, почти прошла. И пока еще в его власти устроить, чтобы последние годы жизни – может, ему еще двадцать лет Господь сподобил жить! – так вот, чтобы эти годы он прожил в почете и славе. Не надо говорить, что он власть любит без памяти, не в этом дело. Просто он понимает, что жить при таком количестве врагов можно либо на верхушке пирамиды, то есть канцлером, либо у ее подножья – то бишь в тюрьме али в ссылке.

Пока здравствует императрица Елизавета Петровна, у него достанет сил, чтоб повлиять на нее и сохранить за собой место канцлера, хоть это и трудно. Пока жива... но ведь больна, и серьезно. Лекари толкуют шепотком про трудный женский возраст, де, переживет она его и окрепнет душой и телом. А если не переживет? Старость подкрадывается к человеку в разном возрасте, но и слепому видно, что государыня в свои сорок восемь лет – старуха.

Он быстро перекрестился, словно кто-то стоял за спиной и подслушивал его мысли. А все отчего? Ела много, спала не вовремя, танцевала без устали, веселилась без удержу... Хотя от этого рано не стареют, видно, здесь рука Господня, что шлет на Россию болезни без счету.

Умрет государыня, кто займет трон русский? Петр Федорович с супругой великой княгиней Екатериной Алексеевной. Но Петр пьяница и недоумок, не удержать ему бразды правления...

Великую княгиню Бестужев не любил. Пятнадцатилетней девочкой приехала она, тогда Софья Ангальт-Цербстская, чтобы вступить в брак с наследником престола, чтобы самой родить наследника, дабы не прервалась нить Романовых. Еще тогда, двенадцать лет назад, Бестужев был против этого брака. В политических видах он предлагал на это место совсем другую кандидатуру. Однако государыня настояла... теперь пожинает плоды!

Ближайшее знакомство с великой княгиней не изменило к ней отношения Бестужева. Он считал ее некрасивой, неискренней, распущенной, а главное, игрушкой в руках матери Иоганны Елизаветы Цербстской, авантюристки, известной всей Европе, и благодетеля их дома ненавистного Фридриха Прусского. Сколько сил приложил канцлер, дабы урезонить юную интриганку и заставить заняться тем, чем положено заниматься матери наследника престола. Екатерина плакала и не подчинялась. Бестужев настаивал и негодовал. Теперь Екатерина Алексеевна выросла. И менее зрячим людям, чем Бестужев, становились видны ее достоинства. Она была умна, общительна, книги формировали ее миропонимание, в ней чувствовалась сила и европейский лоск, а уж при сравнении с наследником Петром Федоровичем ее можно было уподобить звезде, сияющей рядом с лучиной.

Бестужев не любил великую княгиню ровно столько, сколько это было полезно для дел государственных и собственных. Екатерина первой обернулась в сторону канцлера, простив ему все его прегрешения. Она поднялась над своей неприязнью, оценив этого человека и не желая иметь его своим врагам.

Бестужев это быстро понял, он все понимал. Ясно ему было также, что пора прекратить ссориться с кланом Шуваловых, надо подписывать с ними мировую. В силу вступают новые отношения, и в этом нет никакой мистики. Просто Елизавета больна, а это значит, что время молодого Двора наступило.

Теперь главный вопрос в том, кто наследник. С 1743 года считалось, а именно тогда привезли в Москву Петра Федоровича, что наследник – он.

Но за четырнадцать лет государыня хорошо узнала цену своему племяннику. Ему бы на подмостках в шутовской короне выступать и веселить публику. Там бы ему и успех, и слава. А Россией править – оборони Господь...

Невестку Екатерину Алексеевну государыня не любит за спесь, гордость, ум, в конце концов за то, что не хочет плясать ни под чью дудку. Однажды молодой Двор так раздражил и обидел государыню, что она приказала привезти на смотрины шлиссельбургского заточенца, семнадцатилетнего принца Ивана, что сидит всю жизнь под замком в крепости. Одного взгляда на несчастного принца было достаточно, чтобы понять – он не способен править государством, дикий несчастный человек. Грамоте знал, но темница отняла у него здоровье и ясность ума. Можно только представить, так тяжела была для государыни эта встреча. Происходила она в подвале дома Александра Шувалова. Дом этот часто использовался для нужд Тайной канцелярии. Людская молва даже утверждала, что в его подвалах пытали людей. Бестужев знал, что это вранье, но не перечил. Народ должен уважать свой главный орган – Тайную канцелярию.

К встрече с Иваном Бестужев не был допущен, но знал о ней из уст самой государыни. Она легко объяснила, почему Алексею Петровичу не след появляться в шуваловском подвале – чтобы не привлекать к событию внимания, чтоб сохранить дело в тайне. В этом был резон, Бестужев с пониманием отнесся к словам государыни. Это было год назад, тогда Елизавета чувствовала себя не в пример лучше.

А что теперь? Был еще один претендент на русский трон – малолетний Павел Петрович. Может, это совсем не подходящая кандидатура, но то, что она будет обсуждаться, Бестужев не сомневался и терпеливо ждал, когда государыня поднимет этот разговор. И вдруг Иван Иванович, походя, случайно встретив канцлера в коридорах дворца, сказал, что-де появилась у государыни-матушки новая мысль – назначить наследником малолетнего Павла.

Бестужев помертвел. «А как же родители?» – хотел возопить, но сработала давняя привычка, промолчал, даже бровью не повел. Попробуй пойми здесь, нечаянно сказал об этом Шувалов или сознательно, но то, что государыня сама не посоветовалась об этом с канцлером, глубоко уязвило его и огорчило. Кредит твой, Алексей Петрович, пал...

А Иван Иванович бросил фразу, улыбнулся красивым ртом, чуть наморщил лоб, вот, мол, какие мысли не дают спать государыне, и удалился, листая книгу. И всегда-то у младшего Шувалова под рукой книга, в кармане он ее, что ли, носит, чтоб достать при случае, углубиться рассеянно в чтение и уйти от важного разговора и докучливых вопросов.

Если Павла – на трон, то регентами – Шуваловых, а его, Бестужева, – на свалку. Канцлер быстро макнул перо в чернильницу и написал: «Ваше Высочество! Припадаю к стопам Вашим, моля о незамедлительной встрече в связи с событиями чрезвычайными». Записка была написана твердой рукой, и только росчерк, который он поставил вместо подписи, давал возможность предположить, что автор пребывает либо в подпитии, либо в бешенстве.

Написал... А везти кому? Самому надо ехать... Но в Ораниенбаум дорога не близкая, это раз, а главное, появление там самого канцлера будет слишком заметно и для многих подозрительно. А попади эта писулька кому-нибудь в руки, потом беды не оберешься. Бестужев смял бумагу, потом распрямил ее ладонью и порвал на мелкие клочки.

Он сделает все не так. На радость Двору и государыне он устроит бал в честь выигранной под Гросс-Егерсдорфом баталии. Для этих целей отлично подойдет его Каменноостровский дворец. Бал он устроит не очень людный, но драгоценный – для узкого круга лиц, и чтоб все самого лучшего качества и фейерверк с полной затратой, чтоб вензели государыни ракеты в воздухе чертили. На этот бал; дабы отрапортовать патриотический дух, конечно, явится молодой Двор. Кстати, не забыть послать приглашение Понятовскому.

Мысль о бале развеселила канцлера. Удивлю-ка я столицу. Все считают, что канцлер скуп, а он всегда говорил: не скуп, а занят... А сейчас в честь победы да и расщедрился. Вот на балу-то он с великой княгиней все и обсудит.

Бал на Каменном острове

Супруга Анна Ивановна, урожденная Беттенгер, сказала:

– Это безумие, друг мой! Твой бал может стоит десять тысяч!

– Ни в коем случае. – Алексей Петрович подбоченился молодцевато. – Уйдет никак не менее двенадцати тысяч, а может, и все тридцать!

С каких это пор муж стал считать деньги не на рубли, а на тысячи? Анна Ивановна не удержалась от восклицания, в котором больше было удивления, даже, скажем, озадаченности, чем негодования. Она не могла знать мысли мужа, касаемые шаткости его положения, поэтому молнией сверкнула догадка, прямо как озарение, а не завел ли себе коварный муженек некую в обширных фижмах, перед которой теперь и пыжится, распускает щипаный хвост. Однако Алексей Петрович не дал пострадать ей всласть, развивая большую тему:

– Бал даю в честь славы русского оружия и фельдмаршала Апраксина. – Он решительно поднял палец и тут же направил его на жену, словно дуло смертельного пистолета.

Она вздохнула покладисто и удалилась, поскольку знала, спорить с мужем, укоряя его равно как в скупости или в расточительстве, совершенно бесполезно.

Подготовка к балу была проделана в удивительно короткий срок – в четыре дня, что по тем временам считалось совершенно невозможным. Хочешь быть роскошным, найди подходящего архитектора, он сочинит декорации в парке, пригласи композитора, чтоб написал музыку да разучил ее с оркестром, для иллюминации и фейерверка найди артиллерийского офицера, который знал бы толк в декоративных огнях и слабовзрывных смесях.

Жизнь сама вносит коррективу. В целях экономии, а главное, быстроты, Алексей Петрович на эти четыре дня оставил обязанности канцлера, целиком посвятив себя делам бальным, чем совершенно замучил главного распорядителя. Понеже все порядочные офицеры пребывают на войне с пруссаками, сжигание ракет было поручено дворовому Прошке, который в этих делах поднаторел не хуже любого артиллериста. Декораций в парке решили никаких не возводить. Эрмитажный павильон только что отстроен, еще, как говорится, краска не обсохла, прочие же представления можно осуществлять в трельяжных беседках. На шестигранные их купола повесили китайские фонарики, столбики увили гирляндами цветов. На этом декоративную часть оформления сочли законченной.

Сто музыкантов и певцов решили разместить внутри двух прямоугольных боскетов, словно в зеленых залах, стены которых представляли собой вьющиеся растения, укрепленные на невидимых глазу каркасах. Садовник у Бестужева был золотые руки, весь Петербург завидовал канцлеру. Музыканты прячутся внутри боскетов, и из зеленых куц льется дивная музыка. Очарованные гости вертят

головами, пытаюсь понять, из каких таких недр струится сей дивный глас... В это время разверзаются занавеси беседок, и выходят нимфы, сильфиды и прочие обнаженные красавицы, не голые, конечно, но чтоб одежды весьма немного, а все прочее прозрачная кисея.

Все складывалось как нельзя лучше, только бы погода не подвела. Супруга, наконец, перестала обижаться и жадничать, тоже приобщилась к подготовке праздника и предложила устроить даровую лотерею:

– Подобное устроила великая княгиня в Ораниенбауме. Сама не видала, но рассказывали – весело было, огромный успех! Разыгрывали всякую ерунду: веера, перчатки да платки, но каждый рад что-то получить за нечего делать. Лотерею я возьму на себя.

– Ты, Анна Ивановна, вот еще что возьми на себя. Хорошо бы организовать народ... много. Мол, он тоже танцует и славит русские победы. А я поставлю жареного быка и три, нет... пять бочек полпива.

– Что значит «организуй»? И как его организовывать? Скажи об угощении Ивашке-камердинеру, и завтра здесь будет весь Петербург.

– Вот именно всего Петербурга мне здесь и не надо. А надо человек триста... приличных, достойно одетых. Народ, понимаешь?

– Поняла, друг мой. Приличных. Им платить аль как?

– Нет, за еду и выпивку пусть ликуют.

Оказывается, очень приятно готовить собственный праздник. Еще обоих супругов грела мысль, что беспутный сын Антон обретается в сей момент за границей, а потому, как бы ни хотел пьяным и свинским своим поведением опорочить бал, не сможет.

Белов с депешами объявился в Петербурге в тот самый день, на который был назначен бал, а именно 3 августа, во второй половине дня, и, не застав канцлера ни в службе, ни в городском доме, что подле храма Исакия Долхматского, поскакал по наущению слуг на Каменный остров.

Здесь он к канцлеру попал без труда. Как только доложили, так и был принят в библиотеке. Официальные депеши Бестужев быстро глазами пробежал и отложил, а к малому письму отнесся с большим вниманием. Прежде чем его открыть, канцлер внимательно проверил, цел ли сургуч, после чего окинул Александра изучающим, подозрительным взглядом.

– Ты иди пока... посиди в соседней зале...

Да ради Бога! Нужны мне ваши тайны! Как был в заляпанном грязью плаще и ботфортах, так и уселся в креслице, обитое желтым китайским шелком. Велено сидеть, будем сидеть...

Назад канцлер вызвал Белова очень быстра Лицо Алексея Петровича было, как всегда, неприветливо, но каким-то подсознательным чувством Саша понял, что канцлер удовлетворен письмом и что у него даже немного повысилось настроение.

– Ты не уезжай, слышь, Белов... – сказал он низким, утробным голосом, что всегда означало благорасположение. – Говорить мне сейчас с тобой недосуг, потому что вечером здесь в усадьбе бал. Мы с тобой завтра поговорим, расскажешь во всех подробностях о ходе баталии, а сегодня вечером ты будешь, – он поднял палец, – очевидец-герой. Я сейчас распоряжусь, тебя накормят, почистят...

– Ваше сиятельство, я бы лучше домой... Осточертел мундир! Партикулярное платье хочу...

– А кому ты в партикулярном платье нужен? Не пущу! Мундир, выцветший под солнцем прусским... вот так! И еще у меня на тебя виды, слышь, Белов?

– Весь к вашим услугам, ваше сиятельство.

Скажем несколько слов о загородной резиденции Бестужева, о великолепном дворце в парке, которым канцлер отдал столько сил и забот. Много времени спустя, уже стариком, Понятовский в мемуарах даст оценку Бестужеву – смесь недостатков, пороков и достоинств, иногда вызывающих восхищение: «Он хорошо владел французским языком, но охотнее говорил по-немецки. Почти неспособный сам дописать что-нибудь и не зная, можно сказать, ничего,

он по какому-то инстинкту судил всегда правильно о работе других. Он, например, не имел решительно никакого понятия об искусстве, но можно было держать пари, что из многих рисунков он выберет лучший. Господствовать без препятствий было его страстью...» Так вот, ничего не понимая в архитектуре, садоводстве, ботанике, интерьере, он сумел создать истинную жемчужину – Каменноостровскую усадьбу. Дом с двумя жилыми флигелями, украшенный коврами, бронзой, фарфором и антиками. Центральная часть дома состояла из открытой, двухъярусной колоннады, увенчанной портиком, что делало все строение необычайно легким, воздушным – кружева, бабочка, вспорхнувшая над водами. Парк или сад, называйте как хотите, был великолепен. Помимо аллей, украшенных боскетами, о которых уже шла речь, помимо цветников, беседок, гротов, галерей для гулянья, парочки «портретных сараев», оранжерей, полных диковинных пальм, померанцев и птиц, в саду имелись фонтаны, а также небольшой канал, соединенный с искусственным прудом.

Погода не подвела. Вечер был тих и сух. Гости начали съезжаться к восьми часам. Было еще светло, вернее, сумеречно, час между волком и собакой, но иллюминация в большой аллее была уж зажжена и столы подле Эрмитажа накрыты. Цветы напоминали живой ковер, фонарики опалово-нежно светились, музыка, соперничая со струями фонтана, играла необыкновенно мелодично.

Бестужева волновало одно – будет ли государыня. Приглашения и оповещение о бале были сделаны в тот же день, как пришла идея праздника. В тот самый день Алексей Петрович узнал, что молодой Двор вернулся из Ораниенбаума в Петербург и что сделано это не без указания государыни. Возвращение великих князя и княгини было весьма кстати, это означало, что они-то наверняка украсят бал своим присутствием.

Этого, однако, он не мог сказать о государыне. Причина ее отсутствия могла быть самой естественной – нездоровье, но о самочувствии государыни при Дворе говорить строжайше запрещено. Всякий понял бы ее отсутствие однозначно – если еще не опала канцлера, то первый ее знак.

– Ну, появись хоть на час... – мысленно молился Бестужев. – Хоть засвидетельствуй... Ведь не на простую пьянку собрались, а протрубить славу русскому оружию.

Господь услышал молитвы канцлера, только счел, что час присутствия государыни – многовато. Елизавета присутствовала в Каменноостровском саду ровно двадцать восемь минут. Свита ее была немногочисленна, но внушительна. Три брата Шуваловых, две супружницы – Мавра Егоровна и Екатерина Ивановна, прозванная Соляной столб. Здесь же был младший Разумовский – гетман Кирилл Григорьевич. Старший Разумовский после того, как место рядом с государыней занял Иван Шувалов, редко появлялся на приемах, однако, по рассказам, отношения с государыней имел по-прежнему самые сердечные.

Или боясь сырости, которая ощутима в сентябре, или из-за наплевательского отношения к своей внешности, которое вдруг у нее появилось, государыня была обряжена в платье-робу из тяжелой, темной парчи. Видно было, что золототканая одежда затрудняет движения, что ожерелье из крупных смарагдов тянет шею вниз. Елизавета была бледна, неулыбчива, глаза в розовых ободках, словно в них стояли и не могли пролиться слезы. Иван Иванович порхал вокруг нее мотыльком и смотрел нежно.

Принять депешу от Апраксина государыня отказалась, слушать рассказ очевидца и героя баталии не пожелала. О том, чтобы остаться ужинать, не могло быть и речи, однако с хозяйкой Анной Ивановной Елизавета была приветлива, а перед тем, как сесть в катер, и хозяину улыбнулась благосклонно.

Ну и слава Богу! Порядок соблюден, вечер протекает как должно, танцы в полном разгаре, все оживлены и веселы. Вопрос в одном – когда говорить с великой княгиней: до ужина или после? Решил – до. Никому не стал доверять записок и поручений. Сам поговорил с Понятовским, объяснил, где находится библиотека и как туда сподручнее проводить Екатерину. И вот они стоят друг против друга.

– Ваше высочество. – Бестужев склонился настолько, насколько позволяла ему болезнь, воспаление нервных корешков – радикулов. – Я осмелился просить вас о тайном свидании из-за обстоятельств чрезвычайных. – Он выпрямился молодцевато, но не удержался, схватился за поясницу, застудил проклятую, торча вечерами в парке.

Екатерина смотрела на негра не мигая. Эта неожиданная встреча обрадовала ее, она сама хотела организовать свидание с канцлером, а он, оказывается, сам постарался. Смущала несколько его многозначительность. Время было такое, что великая княгиня была готова к неприятностям, только бы они

не касались Понятовского.

– Дело касается трона русского... – выдохнул Бестужев.

«Как он откровенен, опасно...» – пронеслось у нее в голове, вслух она быстро спросила:

– Вы хотите сказать, что здоровье государыни таково, что...

– И это тоже... – поморщился канцлер. – Но главное, что я хотел сказать, – следующее. Государыня желает поменять наследника. Это мне достоверно известно.

К этому Екатерина не была готова. Она почувствовала, как сердце подпрыгнуло взбесившимся зайцем, внутри у нее что-то напряглось, наверное, желудок сжался, затошнило вдруг.

– Кто? – вопрос прозвучал как вздох. – Мой сын?

Бестужев кивнул.

– При регентстве... Кто?

– Здесь, как вы понимаете, много возможных кандидатур...

Оставим этих государственных особ за важнейшей, исторической беседой и вернемся в парк, где неприкаянный и злой бродил меж беседок и боскетов Белов. Какого черта ему не дали поехать домой и выспаться – этого он не понимал. Ужин задерживали. Народу полно, разговоры пустые, дамы старые, а хорошенькие все куда-то подевались. Вина, правда, было в избытке, и оно было очень неплохим.

Он только пригубил бокал, когда к нему опять подошел юный и чрезвычайно вежливый польский посол... как его... Понятовский. Час назад буквально на бегу Бестужев представил Белова послу. Канцлер наговорил про Белова поляку с три короба, и все быстро, заикаясь, словно куда-то опаздывал: герой войны, умен, отлично владеет шпагой, говорит на трех языках, недавно был во Франции,

в Вене с дипломатическим поручением, имеет связи... Хорошенький поляк радостно кивал, а потом убежал вслед за Бестужевым.

– Как вам здесь нравится, господин Белов?

– Благодарю вас, сударь. Мне бы здесь очень нравилось, если б я не так устал с дороги.

– Да, да... Я знаю. Алексей Петрович рассказывал.

«Вежлив, мил, спесив, как все поляки, чего это он меня обхаживает?» – подумал Белов.

– Алексей Петрович сделал из этого парка райский уголок, – продолжал Понятовский.

– Это не он сделал. Это мой родственник сделал, – ворчливо сказал Александр, его раздражал Понятовский.

– Вот как? А я и не знал. Кто же он?

– Головкин Гаврила Иванович, дед моей жены Анастасии Ягужинской.

Брови Понятовского поползли вверх, но он вовремя их остановил и сказал участливо:

– Я слышал об этой печальной истории. Дочь канцлера Головкина, в замужестве Ягужинская...

– А вторым браком – Бестужева. Анна Гавриловна уже четырнадцать лет живет в ссылке под Якутском. Она была замужем за братом Алексея Петровича.

– Да, да... – закивал головой Понятовский, – он сейчас посол в Париже, – голос его звучал столь участливо, а печаль была так искренна, что Белов простил ему спесь и праздное любопытство.

– Канцлер Гаврила Иванович был троюродный брат Петра Великого, – продолжал Александр. – Государь ему этот остров и подарил. А лет десять назад Бестужев купил Каменный у кузена моей жены и оформил имение на свою супругу.

– Тогда она сказочно богата!

– Не в этом дело. Просто русские хитры и дальновидны. Вдруг политическая ситуация изменится, и канцлер попадет в опалу с конфискацией имущества...

– Это он десять лет назад предвидел подобное? – потрясенно переспросил Понятовский, и Белов прикусил язык – что это он разболтался? Совсем не обязательно сообщать подобные подробности этому милому молодому человеку.

Однако Понятовский был другого мнения, он был в восторге от Сашиной родни и его непринужденного поведения.

Позвали к столу. Белов так и не понял, случайно ли его место оказалось рядом с Понятовским или Бестужев успел об этом позаботиться.

Чуть ли не с самых первых тостов Белов очутился в центре внимания. Да будет благословенная Виктория! За несокрушимость русского воинства! Виват Их Величеству! Виват Их Высочествам! Смелчакам и победителям славным – виват, виват, виват! С Беловым чокались, его поздравляли, какие-то девицы осыпали его мелкими и чрезвычайно колючими розами, а гости с дальнего стола, где сидела молодежь, кавалеры да фрейлины, все пытались после первого тоста вытащить его из-за стола, чтобы подбросить в воздух: качать, господа, качать. Белов не дался, но когда над аллеями парка взвился фейерверк, роскошный, надо сказать, Бестужев не поскупился, а Прошка не подкачал, шалая молодежь повторила попытку с подбрасыванием, и на этот раз это им удалось. Сноп разноцветных огней и шутих взвился в небо, и Александр летел вверх, словно пытаясь догнать это красочное великолепие. Чей-то пьяный, восторженный, до чрезвычайности глупый голос выкрикивал призывно по-латыни, де, пусть станет негостеприимным гостеприимное. Таковая надпись украшала медаль, выбитую в 1696 году в честь взятия Петром Азова, и под гостеприимством понималось Черное море, но это не смущало патриота, который ненавидел пруссаков и славил русскую армию. Белова злил этот глупый голос, и, стараясь перекрыть весь этот гвалт и ракетную пальбу, он кричал:

– Но мы же отступаем! Господа, мы проиграли Гросс-Егерсдорф, мы отступаем!

Выпитое есть выпитое, иначе Белов, конечно, сразу бы вспомнил, как он вдруг очутился сидящим на лавке, с которой ему непременно надо было встать, потому что перед ним стоял Бестужев.

– Ты что орешь на весь парк, – «отступаем»? Не отступаем, а переходим на зимние квартиры.

Александр кивнул, ох тяжела голова была, так и гудела! Бестужев тоже порядком выпил, но себя держал, только шепелявил больше обычного.

– Все это зело неразумно, – продолжал Бестужев, важно вышагивая вдоль садовой лавки той же походкой, какой мерил кабинет в минуту задумчивости. – Другой указ будет подписан, а именно: выйти к Тильзиту, защитить Мемель и вперед на Кенигсберг! В противном случае, что нам скажут союзники? У нас открыта дорога к столице Пруссии, а мы пошли по другой дороге.

Сколько бы Белов ни пил, в случае необходимости он умел трезветь и теперь уловил в словах канцлера что-то актерское, надуманное. «Перед кем спектакль? – Александр оглянулся, но в аллее было пусто. – Перед собой, – догадался он. – Это канцлер с собой не в ладу, перед собой и проигрывает наступление. Но поздно уже думать об этом... поздно».

– Мне везти этот указ? – он встал, щелкнул каблуками, на это у него в любом хмелю доставало сил.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Имеется в виду, конечно, Андрей Иванович Остерман – граф, дипломат, генерал-адмирал, кабинет-министр.

2

В XVIII веке процветало каперство – захват судов, торговых и частных, принадлежащих воюющей стране. В широком смысле каперством называли морской разбой.

3

Теперешняя Клайпеда.

4

Напомним, что год на дворе 1757-й.

5

К слову сказать, король Англии Георг II являлся одновременно курфюрстом Ганновера, с этого все и началось.

В задачу автора ни в коем случае не входит изучение Семилетней войны как предмета, в данном повествовании она является только фоном, иногда соучастником жизни героев, но не более. Сама война – кровавый монстр, в чьи глаза я не хочу заглядывать, – не является «героем» произведения.

Масловский Д. М. «Русская армия в Семилетнюю войну». 1890 г.

Четверговая соль – это соль, пережженная с квасной гущей в великий четверг, с ней едят на Пасху яйца.

Однако некоторые наши историки, например Д. М. Масловский, защищают фельдмаршала, как говорится, с пером в руке, просчитывая каждый его шаг.

В менее изысканных кругах это называется сводничеством.

Соловьев С. М. «История России с древних времен».

Купить: https://tellnovel.com/sorotokina_nina/kancler

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)